

Марина Брагина  
Игорь Самбор

18+



НЕФОРМАТ

Марина Брагина

**Неформат**

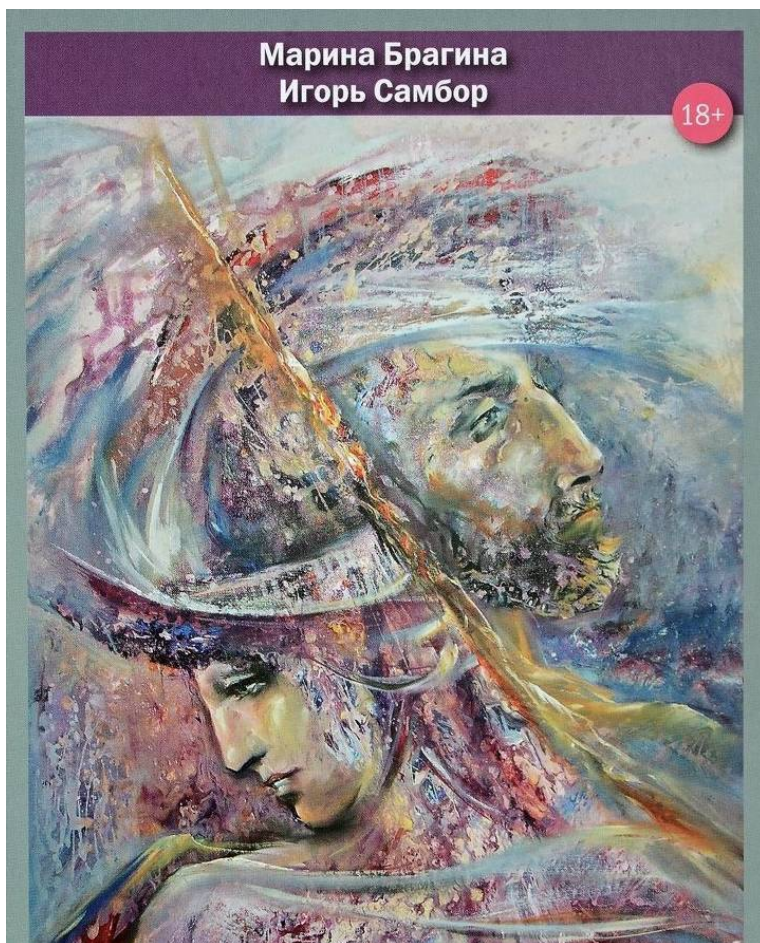
«ЛитРес: Самиздат»

2017

## **Брагина М. В.**

Неформат / М. В. Брагина — «ЛитРес: Самиздат», 2017

Роман «Неформат» - произведение, эпическое по замыслу и размаху действия, охватывающее «смену вех» в жизни страны. Увлекательное повествование и интригующая сюжетная линия затягивают внутрь происходящих событий. Особый интерес вызывает и то, что действие описывается с точки зрения представителей тогдашней, советской «элиты». Откровением для многих молодых читателей может стать и тот факт, что уже в те времена в СССР присутствовало явление, которое позже стало называться «сексуальной революцией», несмотря на расхожий юмористический тезис о том, что «в Советском Союзе секса не было».



Часть 1

Глава 1

«Как молоды мы были...»

Алексей Котин, по кличке Кот, с большим предубеждением относился к людям с необычными, «выпендрёжными» именами, особенно к женщинам. Они его не просто смешили –

они вызвали резкое отторжение. Особенно если «навороченное» имя звучало в сочетании с

простым отчеством и фамилией.

Ему казалось, что вычурное имя, вне гармонии с отчеством и фамилией, обязательно оказывает влияние на характер человека: делает его или нелепым, или заносчивым, или наделяет

неоправданно высоким самомнением. И хотя Кот смолodu снискал репутацию отчаянного

бабника, при прочих равных условиях, скажем, у Натальи Васильевны было гораздо больше

шансов стать его пассией, чем, например, у Луизы Степановны. А Сильва Ароновна Пронькина

просто не имела никаких шансов, каких бы чарующих форм и любвеобильности она ни демонстрировала: «Имя, да ещё произнесённое, – это фонетическое предначертание судьбы», –

сказал ему как-то сокурсник на студенческой вечеринке.

В памяти сокурсника спонтанно рождённый афоризм удержался только до следующего

тоста, а Кот почему-то запомнил эту чеканную формулу, вызванную к жизни лёгким вином в компании необязательных приятелей. К судьбе Кот относился философски, но не без трепета; судьба хранила его, как Онегина, в студенческие годы не раз выручая из разных передряг, в которые он регулярно попадал по бесшабашности, своего характера и на которые советская власть традиционно смотрела весьма сурово. Впрочем, в том, что касается имён в его собственном роду, судьба тоже оказалась не без ехидства: сам-то Кот в миру и на комсомольских собраниях, где регулярно разбиралось его персональное дело, проходил под вполне органичным сочетанием из свидетельства о рождении – Алексей Андреевич Котин. Ехидная ухмылка провидения выглядывала, однако, из предыдущего колена на генеалогическом древе: отец его, Андрей Теодорович, был родом из немцев, и это несообразие в отчестве с духом нового имперского патриотизма брежневской эпохи всё время незримо маячило где-то в глубине его номенклатурного досье. Впрочем, многие плюсы в досье отца Кота – в том числе участие в войне – с лихвой перевешивали сомнительное космополитическое отчество времён Третьего Интернационала. Сам же Кот совсем не возражал против своей клички. Плюс к «котиной» фамилии, его имя, Лё-ша, казалось бы вполне русское, по-французски звучало «le chat», то есть кот. Его так и в спецшколе звали, когда семья ненадолго вернулась в Москву. И ему всегда нравилась эта кличка – он даже охотно «косил» под кота в институте и в кругу приятелей – мог замаякать, или замурлыкать, или очень забавно облизнуться. Алексей был франкофилом по воспитанию и убеждениям. Конечно, не без оснований: полдетства с родителями во Франции – тут и настоящий кот заговорит по-французски. Плюс мама-переводчица. Её всегда приглашали в резерв при официальных визитах. Торговые переговоры, финансовая тематика – советские партнёры там, где речь шла о деньгах, очень чутко ловили ледяное неодобрение французов по поводу засилья мужчин в делегациях. Она была для них палочкой-выручалочкой – этакая русская женщина из романов Толстого или Тургенева, с летучим, искрящимся остроумием знанием их языка. Где-то – но явно не в дерматиновых кабинетах первых отделов, а много, много выше – судьба с сардонической улыбкой на физиономии пряла свою непознаваемую пряжу. Иначе чем можно объяснить вот это имя – Клеопатра Жораевна Беленькая? Имя принадлежало московской девушке, тип которой хорошо известен со времён Пушкина: маленькая, стройная и воздушная, как

фарфоровая статуэтка. Целая коллекция таких, исполненных изящества и лёгкого кокетства, фигурок стояла в спальне родителей Кота, хотя он, по своей природной бесшабашности, не

обратил на этот знак судьбы никакого внимания. У неё были бездонные синие глаза; и особенно

смелые ухажёры, не очень греша против истины, говорили ей, что в них можно провалиться, как в

пучину, и никогда не выбраться. Чёрные, ничуть не славянские густые волнистые волосы без

всякой стрижки и укладки мягко обрамляли её миловидное личико и составляли впечатляющий

контраст с синими глазами. Все эти внешние достоинства создавали ей ореол загадочности – но

только если Клеопатра (в просторечии и для родителей – Лялька) молчала. Когда говорила, вся

загадочность сразу же исчезала – она была вся как на ладошке, непосредственная и открытая,

порой даже чрезмерно. Как всякая истая москвичка, она несла в себе коктейль самых разных

кровей – в том числе восточных.

Отец Ляльки, армянин «московского разлива», родился в отдалённом горном районе Армении, но всю жизнь прожил в Москве, изрядно обрусел и по-русски говорил с безукоризненным московским аканьем. Впрочем, это не мешало ему при общении с соплеменниками умело имитировать армянский акцент и напускать на себя, для вящей достоверности, лёгкую восточную вспыльчивость. Лялька пост-фактум всегда подтрунивала над

его напускной экзальтацией «на публику» и, оставшись наедине с ним на кухне, с дочерней

нежностью третировала его экспансивную манеру общения: «Слушай, ара, пачему, да, ты гаваришь как в Арцахе?» Отец смотрел на неё виновато-лукаво, как провинившийся щенок, и в тон

дочери отвечал с утрированным восточным акцентом: «Слушай, женщина, волос длинный, ум

короткий, как не понимаешь, национальные корни взыграли?!» Вот это «корни взыграли» было в

доме своеобразным паролем. «Корни взыграли» – был ёмкий ответ на вопросы, в какой ресторан

отца позвали и кто именно. «Корни взыграли» – универсальное объяснение того, почему папа

неблагодарно отзывался о вечеринке, на которой его жену слишком часто приглашали танцевать другие мужчины. В редких случаях, когда отец Ляльки принимал лишнего, – уккоризненный вердикт его жены «корни взыграли» относился как к нему, так и к вождьленному

напитку Ереванского коньячного завода.

Корни его простирались в горную сельскую глубинку Армении, где за водой ходили с ведрами к колодцу, в хлебную лавку стояли две отдельные очереди – мужская и женская,

а

предметом гордости односельчанам были земляки: маршал и Герой Советского Союза, вхожий с

докладами к Сталину, видный академик, а также прозападный композитор – автор шлягеров

шестидесятых, безупречно стилизованных под блюзы, буги-вуги и даже «Караван» Дюка Эллингтона.

Его личная судьба была наполнена теми самыми превратностями, о которых так много говорят. Лет в пять он был привезённым в Москву дальними бездетными родственниками, которые

убедили его родителей, что мальчику в Москве будет лучше: и образование получит, и московскую прописку.

Он был необычно поздним ребёнком. Родители его, очень пожилые, уже имели внуков.

Конечно, отец был гордился (ему как раз стукнуло семьдесят), что в столь почтенном возрасте

смог родить сына. Но малыш сильно подорвал здоровье матери, и было очевидно, что вырастить

его будет крайне сложно.

Московские родственники принадлежали к тогдашней, ещё довоенной, элите – Иван Петрович Беленький работал в Совмине, а его жена, на четверть армянка, – в Министерстве

культуры. Они несколько раз забирали Жорика к себе в гости в Москву и привязались к малышу.

Им удалось убедить настоящих родителей оформить отказ от ребёнка – только так они могли его

усыновить. Так Жорик – в свидетельстве о рождении он был записан как Жора – стал носить

фамилию Беленький. Впрочем, весь его вид со всеми внешними атрибутами армянской национальности представлял разительный и исполненный юмора контраст с фамилией; ирония

усиливалась тем, что по документам он всегда значился не Георгием, а Жорой, и почему высокообразованные усыновители намеренно пошли на такой афронт в антропонимике – одному

богу известно.

После рождения дочери у Жоры Ивановича сработал, видимо, какой-то схожий механизм противостояния обыденному, быть может навеянный армянскими генами, и он, к ужасу жены

Валентины, решил назвать дочь Клеопатрой. Самое поразительное, что в решающий момент в

споре с мужем по этому поводу Валентина обнаружила, что у неё нет убедительных контраргументов.

– Клеопатра! – мечтательно закатив глаза, словно пробуя на вкус пахлаву, нараспев произносил Жора. – А известно ли тебе, женщина, что означает это имя?

Валентина оплошала – не подготовилась к разговору и имела в арсенале что-то весьма обыденное в диапазоне от Ольги до Екатерины. Но Жора, что называется, закусил удила, он был в

восторге от своей находки:

– Это имя означает «царица, любящая своего отца». Отца, понимаешь? И ты хочешь, чтобы

я отказался от такого имени для своей единственной дочери?! Тебя-то она и так любить будет – а

для меня это единственный шанс.

Имя оказалось пророческим – дочь любила отца нежно, с какой-то особой

доверительностью, какой так и не случилось в её отношениях с матерью. Но это стало понятно

много позже. Пока Валентина месяц после родов умоляла мужа дать девочке «нормальное» имя,

в качестве эрзаца использовали просторечное Лялька. Валентина окончательно признала своё

поражение, увидев свидетельство о рождении, где чёрным по белому написали: Беленькая

Клеопатра Жораевна. Она готова была расплакаться, но Жора, обычно податливый и неупрямый,

как все армянские мужья, в этот раз не отступал. Больше в этой ситуации она ничего не смогла

сделать. Не разводиться же! В качестве реванша за поражение Валентина узаконила в обиходе

имя Лялька, резонно указав мужу, что Клеопатру невозможно вслух и без истерического смеха

попросить, допустим, вынести ведро к мусоропроводу или напомнить Клеопатре поменять трусы

на чистые. Как альтернатива с подачи хитрой Валентины фигурировала вообще несуразная Клёпа.

И Жора смирился.

За исключением этого эпизода, Жора являлся идеальным мужем: любил свою жену, решал

все житейские вопросы, одаривал её дорогими подарками, везде и всюду находился рядом – в

общем, настоящая опора и защита. Карьеру он сделал блестящую – стал дипломатом. На момент

рождения Клеопатры уже трудился в Министерстве иностранных дел и ждал назначения за

границу.

Коллеги по работе за глаза иронически-дружелюбно величали его «Беликяном» –

впрочем, с оттенком неподдельной сердечности. Для сердечности имелись простые человеческие

причины: Жора был от природы незлобен, улыбчив, по-восточному обходителен и, взбираясь по

крутой служебной лестнице, соблюдал политес не только с начальством, но и с подчинёнными.

Ему претило вошедшее в моду среди партийной элиты в брежневское время рабоче-крестьянское

хамство, выдававшее себя за «демократизм». Он лишь тонко улыбался, выслушивая дежурные

сальности в ходе застольных партийных посиделок, и не торопился ответить смачным словом на

пьяную тираду мидовцев из тех, что попроще. У помощника Брежнева Александра-Агентова он

позаимствовал мудрость в стиле Дейла Карнеги: «Нервный человек – не тот, кто кричит на подчинённых. Кричит на подчинённых просто хам. Нервный – это тот, кто кричит на начальство».

Жора предпочитал не кричать ни вверх, ни вниз. В пронизанной интригами и неврозам атмосфере МИДа он был лучезарен, доступен для нижестоящих коллег, надёжен в качестве

конфиданта для «дипломатов в штатском» и обходителен без наивности в общении с иностранными коллегами. Он был весьма несоветским в манере общения. В кулуарах в пику

разговорам о «ленинской внешней политике» он оспаривал Киплинга, утверждая, что СССР – это

удачный пример того, как вместе сошлись практичный Запад и лицемерный Восток. В припадке

откровенности он признался как-то дипломату из тех, что «под прикрытием»: идеал мидовца – это

помесь восточного падишаха с английским лордом. Жора и являлся таким идеалом.

Он начинал свою мидовскую карьеру ещё при «и примкнувшем к ним Шипилове», когда тот активно осуществлял послесталинский поворот СССР лицом к арабским странам; но

Жора

служил тогда в средних чинах и не числился среди креатур Шипилова, так что политический крах

патрона никак на него не повлиял, тем более что в своих географических пристрастиях

Жора был

традиционалистом – невзирая на свои армянские корни, мало интересовался Ливаном, Ираном и

прочими странами армянского рассеяния, а выбирал более традиционные для дипломата столицы – от Праги и западнее. Они по нескольку лет жили и в Праге, и в Берлине, где

к тому же

имелись хорошие советские школы при посольствах. Жора с истовостью настоящего армянина из

двух возможных поприщ – коммерции и книжной учёности – без колебаний выбрал последнее, и

ставил образование дочери выше своего карьерного роста. Впрочем, он оказался удачлив

в

карьере. Отчасти потому, что проявился, как говорят американцы, в нужное время в нужном

месте, но в основном благодаря образу, который он сам для себя создал. Образ обозначался

особым термином – «внутренний дипломат».

В ответ на добродушное подначивание со стороны жены Валентины, которая первой услышала диковинный термин, он не без ироничного удовольствия, объяснял:

– О женщина, сосуд несовершенств, как ты не можешь уразуметь? Коридоры МИДа

полны

«внешних дипломатов» – людей, которые пользуются вежливостью и радушием не чаще,

чем

ножом и вилкой, и то лишь на официальных банкетах. В повседневной же жизни это трамвайные

хамы, подсиживающие коллег и тиранящие нижестоящих сотрудников. А «внутренний дипломат»

– я, например, – ест с ножом и вилкой, даже когда его никто не видит, и доброжелательно относится к внутреннему кругу коллег и подчинённых. Ну, как Микоян, – пояснял он для пущей

ясности.

Верный этой философии, Жора уживался со всеми, не забывая о каждодневном, методичном труде – подъёме по карьерной лестнице. При этом никого не подставлял и не подсиживал. И те скандалы, увольнения, упразднения отделов и кадровые перетасовки, что

время от времени сотрясали МИД, обходили его стороной.

Лялька росла принцессой, и Жора с широтой души восточного падишаха бросал к её ногам

всё: и стильную западную одежду, которая всё настоятельнее заявляла о себе в Москве, – «Москвошвей» и даже ателье индпошива уступали под напором западной моды и становились

позорной архаикой, – и украшения, и дорогие, только по подписке доступные книжные собрания

сочинений. Странно, что при всей своей любви к дочери он ухитрился не испортить и не избаловать её. Был строг и требователен к учёбе, внушал ей, что «всё это» (следовал широкий

жест, охватывающий квартиру со всем её содержимым, включая огромный шкаф с одеждой, и

саму Ляльку) будет принадлежать ей только в случае хороших отметок и примерного поведения.

Впрочем, Ляльку не приходилось понукать: учиться она любила и с азартом накапливала книжные

знания, даже из ненавистных ей точных наук – Лялька росла прирождённым гуманитарием.

В МГИМО поступила легко. Конечно, её фамилия числилась в соответствующем списке, но

«за уши» её тянуть не пришлось – она блестяще знала материал по всем предметам, и, с торжеством размахивая сумкой, возвращалась домой, чтобы отрапортовать об очередной пятёрке

на вступительном экзамене. А вот по поводу правил поведения у неё с папой образовались

неразрешимые противоречия. Верный своим армянским генам, Жора был патологически ревнив

по отношению не только к жене, но и к дочери. Одна мысль, что какой-то мужчина может приблизиться к ней ближе, чем на расстояние вытянутой руки, повергала его в нездоровое

возбуждение, которое иногда заканчивалось сердечным приступом. Пока Лялька училась в

школе, особых проблем не возникало: все невинные школьные романы укладывались в рабочее

время, и к приходу папы с работы она сидела паинькой за учебниками. Да и боязнь пролететь с

поступлением в институт тоже делала своё дело – Жоре как-то удалось внушить дочери, что у него

принципы и что просить за неё он не пойдёт. Более того, если она провалится, то навсегда замазает его честное имя, и он просто не знает, сможет ли после этого жить. Лялька действительно грызла гранит науки, утешая себя тем, что, вот поступит – и тогда... «И тогда», по логике событий, наступило в летний день сразу за последним экзаменом, когда ей позвонила приятельница-абитуриентка Лилька с радостным воплем: «Свершилось! Мы с тобой – в логове будущих дипломатов! Готовь вечерние платья для приёмов и сумки из крокодиловой кожи для валюты! Учись пить Курвуазье не морщась и соблазнять мужиков одним выстрелом глаз!»

Лилька и так умела устроить праздник души и тела на ровном месте, а тут событие тянуло – конечно, в её системе координат – на феерический загул. Ляля познакомилась с Лилькой в самом начале, на первом экзамене – сочинении по литературе; ту в присущей ей бесшабашной манере угораздило писать сочинение на вольную тему – что-то типа «Есть у революции начало – нет у революции конца». Вольность темы стала, кажется, уважительным предлогом для того, чтобы беспокойная Лилька, сидевшая в соседнем ряду, шумно, как мышь в амбаре, шуршала бумагами, ёрзала по стулу, восторженно хихикала себе под нос и даже задавала уточняющие вопросы экзаменаторам, надзиравшим за общим порядком в зале, чем отвлекала дисциплинированную Ляльку, с трудолюбием муравья раскрывавшую тему «дубины народной войны» по толстовскому роману. Общего между ними ничего не было, если не считать номенклатурности родителей и необузданности семейной фантазии при выборе имён – Лилька проходила по документам не иначе как Черных Лионелла Марксовна, что, конечно, звучало ещё забористее, чем Клеопатра Жораевна Беленькая, с учётом идеологического гандикапа в отчестве.

В остальном Лилька, с её характером экстраверта, импульсивностью и невоздержанностью на язык, выгодно отличалась от Ляли, которая, при всей открытости характера, всё-таки додумывала мысли, прежде чем их озвучивать, и заканчивала фразы там, где Лилька издавала первобытные звуки и беспрестанно хохотала. Вот и тогда, после экзамена по английскому, Ляля, втянувшаяся в каторжную гонку два года назад, никак не могла расслабиться и, стоя в прихожей с телефонной трубкой у уха, пыталась до конца осознать, что всё закончилось, приз у неё в кармане, а самое главное, можно остановить этот лошадиный аллюр и пойти, наконец, по жизни шагом, оглядываясь по сторонам и не угорая во сне от навязчивых обрывков исторических дат, неправильных английских глаголов и образов литературных героев, которые захламляли её подсознание все последние месяцы.

Лилька, напротив, о жизни шагом вразвалочку и слышать не хотела. Она сорвала подружку с места, отогнала от телефонной трубки и выудила её, как непослушную, упирающуюся устрицу из раковины, в большой свет – для начала в кафе «Крымское» рядом с метро «Парк культуры», которое она с вальяжностью завсегда именовала «Крым».

Ляля, позвонив отцу и отрапортовав ему о поступлении, получила, как и предполагалось, порцию заслуженных комплиментов (Жору распирало от гордости), а заодно и согласие на мини-праздник с шампанским и мороженым в компании своей новой знакомой – тоже новоиспечённой студентки МГИМО из очень приличной семьи. Жора легко дал согласие аж до десяти часов вечера. Ляля, спускаясь в метро по пути в кафе, автоматически отметила для себя: «Вот и началась моя взрослая, самостоятельная жизнь». Лилька, несмотря на свою взбалмошность, оказалась предусмотрительно-хозяйственной, и, заскочив по пути на рынок, притащила с собой в кафе пакетик свежей клубники. Она деловито заказала большие порции мороженого и бутылку шампанского, победно выложив на стол избыточную сумму со словами «без сдачи», и легко уговорила официантку водрузить им на столик графин с широким горлышком.

– Сегодня пьём крющон! – громогласно провозгласила она, обрушивая в графин клубнику и заливая её сверху шампанским.

Ляля, как подмастерье, зачарованно наблюдала за этими хозяйственными манипуляциями своей приятельницы. Угар экзаменационной гонки ощутимо исчезал с каждой минутой, можно было никуда не торопиться, и тёмно-красная садовая клубника в крющоне уже бледнела на глазах, обещая летний отдых и приятные приключения.

Они выпили по бокалу шампанского, радостно чокнувшись бокалами, и набросились на мороженое, болтая без умолку и вспоминая перипетии экзаменов. Лилька хохотала, роняла капли подтаявшего мороженого на глянцевую поверхность столика, смеясь, красила оставшейся в пакете клубникой губы до клоунской красноты и вообще веселилась до упаду. Захмелев к концу бутылки, она перескочила на детали письменного экзамена по английскому, выдала попутно пару английских пословиц, которыми, по её словам, поразила экзаменаторшу – укусную старую деву – и, отталкиваясь от образа старой девы в сторону, противоположную приличиям, решила ни с того ни с сего проэкзаменовать Лялю по неформальной английской лексике.

Ляля, не выходя из лёгкого, шутливого настроения, растерянно соображала, что,

оказывается, не знакома с аналогами ни существительных, ни глаголов, которые так часто употребляются на Руси, и, конфузясь, вынуждена была признать это. Лилька, раззадорившись ещё

пуше, хохоча так, что на них оглядывались за соседними столиками, стала второпях просвещать

Лялю. Той даже пришлось пару раз смущённо шикать, потому что Лилькины модуляции разносились по залу довольно ошутимо.

Отсмеявшись, Лилька приобрела наконец серьёзный, даже таинственный вид и без обиняков ударила в девчачью исповедальность.

– У тебя сейчас кто-то есть? – заинтересованно осведомилась она.

Лялька растерялась ещё раз. Над ней довлели Жорины максимы – «ни одного поцелуя без любви» и «первым мужчиной может быть только законный муж». Она забормотала что-то оправдательное о том, что все одноклассники на период экзаменов разлетелись в разные стороны, но Лилька перебила:

– Ладно, это и так понятно. А сколько у тебя их было всего?

Вопрос поставил Лялю в тупик – подруга явно подразумевала что-то серьёзнее поцелуя.

– Смотри, что ты имеешь в виду, – пробормотала она, надеясь выиграть время и выкрутиться из ситуации.

– Это!.. Это я имею в виду, – настойчиво гнула своё Лилька. – Слушай, ты что, вообще не...

то есть... ни разу? – Она даже оглянулась в тревоге, будто кто-то мог подслушать эту страшную

тайну.

Ляля, окунув лицо в бокал с остатками шампанского так, что клубничины со дна коснулись

кончика её носа, смущённо кивнула головой, расплескав остатки напитка на столик.

– Ну ты даёшь! – поражённо выдохнула Лилька. – Слушай, ты институтом не ошиблась? Тебе с такими подходами надо не в МГИМО, а в археологический. Там тебя и похоронят

среди

окаменелостей старой девой. А в МГИМО даже не вздумай никому говорить – засмеют!

И моя

репутация на любовном фронте пострадает, если узнают, что я общаюсь с «окаменелостью».

У Лильки снова, в третий раз за вечер, поменялось настроение. Из образа задушевной подруги она без усилий прыгнула в образ наставницы-учителя.

– Ну так давай решать проблему! У тебя хоть кто-то на примете есть?

Ляля неуверенно покачала головой.

– У меня... – нет. Был один парень у школьной подружки, который мне нравился, и, наверное, у них что-то было. Хотя он, как мне казалось, поглядывал в мою сторону. Я не решилась...

– «Наверное», – беззлобно передразнила её Лилька. – Наверное, у всех всё было, и по сто раз. Кроме тебя, подснежника. В каком сугробе ты пряталась?

Остаток вечера в кафе Лялька слабо отбивалась от наседавшей на неё подружки, которая требовала прямо сейчас, не сходя с места, составить перечень потенциальных любовни-

ков и

начать действовать.

Но в метро по пути домой, отходя от винных паров и, вне всякой логики разглядывая пассажиров, тех, что помоложе, – будто она собиралась внести их в Лилькин список –

Ляля

невольно призадумалась. Взрослая жизнь, о пришествии которой она сама себе объявила по пути

в кафе, делала первый стремительный зигзаг и звала за собой, требуя на что-то решиться. Тогда, в 1971-м, в своём неистовом стремлении приобщить подружку к таинствам плоти и снять с неё позорное пятно девственности Лилька оказалась упорнее, чем того требовала

ситуация

и здравый смысл. Она терроризировала Ляльку ежедневными звонками, каждый из которых

выливался в обширный, многоступенчатый разговор на тему «кто у нас есть в обойме».

Благо бы

только днём, когда Жора был на работе! Но она стала покушаться и на вечернее время,

а Жора

терпеть не мог неупорядоченные телефонные связи; да к тому же Лилька на пиках энтузиазма так

орала в трубку, что Ляля всерьёз стала опасаться, что тема разговора каким-то образом дойдёт до

ушей отца. Наконец её терпение лопнуло и, вызвав Лильку на деловое свидание на ближайшую

станцию метро, она сделала ей решительный укорот. Эрудиция, накопленная за два года учебной

каторги, была ещё свежа в сознании, и Лялька, перехватив инициативу у напористой подружки,

назидательным тоном поведала ей остроту вековой давности: анекдот о том, как царь Александр

Второй наградил графа Клейнмихеля за строительство железной дороги в Петербург медалью с

надписью: «Усердие всё превозмогает», на что записные остряки брата Жемчужниковы – они же

Козьма Прутков – откликнулись язвительной ремаркой: «Иногда усердие превозмогает и рассудок».

– Вот и ты мне напоминаешь этого Клейнмихеля, – выговаривала Ляля подруге. – Ты чего кричишь в трубку как оглашенная?! Хочешь, чтобы родители слышали и вместо

МГИМО

постригли меня в Новодевичий монастырь? Это ещё хуже, чем твой археологический с окаменелостями.

– Для тебя же, росомахи, стараюсь! – горячилась Лилька. – Если ничего не делать, жизнь мимо пройдёт!

– Кто тебе сказал, что ничего не делается? «Наши цели ясны, задачи определены – за работу, товарищи!»

Легко сказать – «за работу!» Наступление на постельном фронте ещё даже не планировалось – не было подходящей кандидатуры. Правда, Ляля сделала несколько роб-

ких

шагов навстречу судьбе – позвонила бывшей однокласснице Эллочке и, между прочим,

среди

болтовни о том, кто куда поступил, выудила у неё важную новость. Эллочка, оказывается, рассталась со своим последним воздыхателем, который охмурял её весь последний год романтикой горных восхождений, песен под гитару у костра и сентенциями о том, что

все едут за

делами и деньгами, а он, непонятый лирический герой, едет за туманом и за запахом тайги. План

поиска кандидатуры был просто, как мыло, – Ляля логично предполагала, что на все эти песни у

костра наверняка слетаются, словно таёжные комары, потенциальные кандидаты на её первый

сексуальный опыт. Разрыв между Эллочкой и романтиком гор поначалу сбил Лялю с толку, но она

тут же сориентировалась, тем более что Эллочка по телефону говорила об этом без ожесточения и

даже несколько шутливо. Ляля сразу удачно симпровизировала – осведомилась, где встречаются

любители самодеятельной песни, они же альпинисты, уточнив, что, мол, её парень, с которым она

познакомилась в МГИМО, большой энтузиаст и того и другого. Эллочка, ничуть не удивившись

наличию у Ляльки парня, тем более из МГИМО, легко выдала номер телефона своего отвергнутого

ухажёра и стала исподволь выяснять, нет ли у Лялькиного парня друзей, явно прицеливаясь на

новые отношения. Потребовалась некоторая изворотливость, чтобы выкрутиться из разговора, не

вдаваясь в конкретику, но главное было достигнуто – в руках была ниточка, ведущая в лабиринт

минотавра, в закоулках которого наверняка отыщется её первый мужчина. Единственное, что

смущало во всех этих хлопотах: они как-то явственно напоминали ей предэкзаменационную

горячку. Ляля с неудовольствием отметила про себя, что, вопреки ожиданиям, взрослость не

освободила её от хлопот, как этого хотелось, а, напротив, усугубила их масштаб и значимость;

неправильные английские глаголы и даже любовь Онегина к Татьяне теперь казались лёгкой

задачкой по сравнению с житейскими альтернативами – делать? не делать? рисковать? или нет?

Она даже малодушно подумывала о том, чтобы оставить всю эту затею – в конце концов, впереди ещё пять лет в институте, времени навалом. Но Лилька досаждала ей расспросами, да и у

самой Ляли в глубине сознания шевелился червячок любопытства. Подспудно начинало бесить

сознание того, что она всё ещё какая-то маленькая, ненастоящая, и чем дальше, тем чаще она

впивалась глазами в своих сверстниц в попытке нюхом опытного физиогномиста определить –

было это с ней или нет.

Все чувства, кроме разве что тактильных и вкусовых, настойчиво твердили, что да – было!

И у этой, другой, тоже было! Да у всех, если на то пошло, было – кроме неё самой...  
И Ляля

решилась: набрала номер телефона этого самого Романа и, сославшись на Эллочку и своего

несуществующего ухажёра, напросилась на вечеринку послушать песни под гитару.

Она прежде видела его один раз, да и то мельком, издали, в компании Эллочки, и теперь ни за что бы не узнала, если бы он, на правах хозяина вечеринки, не представился первым.

Он

отпустил роскошную курчавую бороду – то ли с горя, то ли в поисках нового имиджа – и теперь

походил на молодого народовольца, правда, ни дня не сидевшего на каторге и вовсе не сторающего от чахотки – напротив, с артистическим румянцем во всю щеку.

Несколько лет спустя, когда вся страна с мазохистским любопытством прильнула к экрану

телевизора, отслеживая в десяти сериях фильма перипетии судьбы молодого Карла Маркса: его

попойки, безумные студенческие выходки и конфликты с набожным евреем-отцом – Ляля узнала

этот типаж. Но тогда, в квартире, наполненной прыщавыми юнцами в водолазках и их подругами

в очках и длинных шерстяных юбках крупной вязки (отдалённое эхо Парижа 1968-го и заокеанских

хиппи), в повестке дня стояли другие вехи-ориентиры: разговор вертелся вокруг Тянь-Шаня и

Эльбруса, старины Хэма (Ляля с запозданием сообразила, что подразумевался Хемингуэй), индийских йогов и дзен-буддизма. А Сергей и Татьяна Никитины, о которых Ляля, к стыду своему, слыхом не слыхивала, фигурировали просто как Серёжа и Таня, недалеко отставая от Володи

Высоцкого и Андрюши Вознесенского.

Она без усилий озвучила заранее отрепетированную ложь, объясняя отсутствие своего ухажёра и выдавая себя за рьяную поклонницу самодетельной песни, и Роман, ничуть не удивившись, словно только этого и ждал, пригласил её в круг, где среди бутылок с портвейном и

открытых банок со шпротами уже вовсю болтали в преддверии выступлений бардов.

В голове прочно засела установка «Не понравится – в любой момент уйду, меня здесь ничто не держит». Именно эта ложная свобода выбора и держала её там. Это и ещё странное

ощущение двойственности: её окружали вполне взрослые люди, но с какой-то щербинкой, с

каким-то вывертом, который делал их похожими на рано повзрослевших, не в меру серьёзных

детей. Представить себе здесь Жору было немыслимо – даром что он тоже был из мира взрослых.

Ляле всё время чудилось, что эти взрослые дети условились сыграть в какую-то странную эзотерическую игру. Впрочем, тогда она не знала слово «эзотерика», хотя суть в этом, пожалуй, и

заключалась. Ляля даже на какое-то время забыла о подспудной цели своего визита, целиком

отдавшись разгадыванию правил неведомой игры. Она быстро смекнула, что в правилах

пренебрежительно-лёгкие ссылки на последний номер «Литературки», а лучше – «Иностранки»,

умная недосказанность в оценках – подразумевалось, что собеседник хватается твою мысль на лету, и в подтверждение этого к элегантно оборванной фразе, как маркер «для своих», добавлялось:

«Ну, ты же понимаешь...» О джазе надлежало судить с умиротворённой поволокой сонных, всё в

жизни видевших глаз, а музыкальный рок порицался, но с любовью, как непутёвое, но талантливое дитя, хватанувшее, надо честно признать, через край. Неведомый Ляле Сальвадор

Дали теснил Пикассо и абстракционистов, и о Никите, угодившем в прошедшее завершённое

время – «паст перфект», говорилось с видимым пренебрежением. И всенепременно обращения

«старик» и «старуха», вне зависимости от возраста и статуса. «Старик, ты гений!», «Ну вот здесь я с

тобой не соглашусь, старуха», «Старик, ну это офигенно глубоко, как ты этого не понимаешь?» С

усилием отвлекаясь от этих антропологических наблюдений, чтобы напомнить себе, зачем она

здесь, Ляля тщетно пыталась представить, как бы повела себя в этой ситуации Лилька. Впрочем, начинал всё ярче разгораться и её костёр... Когда она на правах подкидыша в случайной группе у стены обмолвилась о том, что читала «Аэропорт» Артура Хейли в оригинале, то

вдруг неожиданно для себя самой сорвала у аудитории куш – ведь сигнальный экземпляр с

русским переводом бестселлера ещё только путешествовал по редакционным коридорам «Иностранки».

К ней весь вечер клеились кандидаты – в бородах и без, некоторые даже на виду у своих поклонниц, тех самых, с которыми и пожаловали на вечеринку, и Ляля, удивляясь сама себе и

входя во вкус, бестрепетно играла роль взрослой, со всеми этими знаковыми «старик – но это же

трансцендентально!», поражаясь втайне только тому, что её до сих пор не разоблачили. Она вела

себя как опытный картёжник, который по-хозяйски ласкает в широкой пятерне проходные десятки

и усатые валеты, не торопясь сыграть ва-банк и догадываясь, что на подходе из рядом лежащей

колоды уже короли, а то и козырные тузы. К середине вечера она уже знала имена большинства

из колоды и, кажется, даже успела заслужить немое презрение у пары бубновых дам в водолазках. Где-то в перерывах между «Парня в горы тяни – рискни» и «Домбайским вальсом»,

отогнав от неё очередного из валетов, серьёзно, с пафосом демонстрировавшего восхождение из

последних сил в связке по почти отвесной стене, Роман завёл с ней светский разговор, ненавязчиво интересуясь, как давно она дружит с Эллочкой.

Ляля, легко прочитав его картёжный расклад, отвечала рассеянно и изо всех сил

демонстрировала незнакомство с предметом разговора – что было нетрудно, потому что Эллочка

все старшие классы школы уделяла львиную долю внимания мужчинам старше неё и на контакты

с ровесницами особенно не шла.

Игра в незнание себя оправдала – он почувствовал себя успокоенным и стал, манерно поглаживая бороду, лепить свой имидж, небрежно роняя упоминания о Визборе и театре на

Таганке. Она снова почувствовала раздвоение восприятия – сознание твердило ей, что он взрослый, вполне серьёзный и даже, наверное, состоявшийся человек, даже внешность которого

требовала относиться к нему с должным пиететом; а другая, глубинная женская часть её естества

навевала непонятно откуда взявшееся ощущение, что перед ней – попрошайка-лицемер, который

хочет чего-то, но по причинам ложно понятой гордости отказывается упоминать это вслух. Ей

вдруг вспомнился дачный сторож-алкоголик, добросовестно следивший за поливом грядок в

отсутствие хозяев. Он имел обыкновение появляться с приездом Жоры с семьёй на террасе их

дачи, стоял неммым укором себе и другим, не в силах попросить вместо платы у Жоры то, ради

чего, собственно, и служил верно всю неделю, – чекушку «Московской» (водка до местного

сельпо сроду не доходила, исчезая в авоськах жаждущих ещё на уровне райторга).

Она бы откладывала до бесконечности принятие решения, но тут хитрый дьявол, заведовавший не только распрями между литературными журналами почвенников и прогрессистов, но и судьбами их читателей, подкинул ей со страниц «Нового мира» трифоновскую

повесть, название которой, несомненно, продиктовал лукавый собственной персоной – «Обмен».

Лялю, впрочем, такое провиденциальное название никак не впечатлило – от него, на её взгляд, за

версту разило никаким не «Фаустом» с обменами душ на бессмертие, а московским жэком или,

хуже того, Банным переулком, куда они как-то в её детстве ходили давать объявление на обмен

квартиры для дальних родственников матери. И читать повесть она стала только потому, что

донесли до неё стороной какие-то хвалебные шумы на этот счёт. И произведение оправдало её

худшие опасения, да ещё и с перехлёстом: это была какая-то угрюмая, наполненная невротами,

недовольством и ущербностью жизнь, и она выглядела тем страшнее в своей обыденности, что

происходила тут же, в Москве, где-нибудь в Сокольниках или на Каширке. И жизнью этой жили

и вот эти самые люди – те, что окружали её в метро и автобусах, что толклись в гастрономах и универмагах, все эти усталые жёны и больные свекрови, и унылые любовницы, и мерзкие в своей безысходности коммуналки и малометражки... Убогое существование этих персонажей показалось Ляле таким противным, серым и изначально предопределённым, что она всполошилась душой: «Как же так?! Неужели это ждёт и меня?! Неужели так у всех – и на всю жизнь?!»

Лялю охватил вселенский ужас при мысли, что она, живой человек со страстями и любопытством, со временем, сама не заметив, когда, станет одним из этих персонажей, поселится где-то на страницах такой вот книжки, где, кажется, никогда нет солнца, а всё время серая, без всплесков вдохновения московская осень. Нет! Надо было решаться на что-то, ломать в своей жизни те самые дрова, о которых все говорят, но которые далеко не все ломают!

И, позвонив Роману в очередной раз, она легко, совсем как взрослая, согласилась не только прийти на очередную вечеринку, но и забежать к нему до этого на кафедру в главный корпус МГУ – он, кажется, подвизался там в какой-то бесконечной аспирантуре на мех-мате, среди таких же бородатых коллег. Забежать с целью пообедать вдвоём в профессорской столовой – это уже был какой-то аванс, негласное обещание и намёк на что-то большее, чем шпротный паштет среди общего шума и гама квартиры. Впрочем, из профессорской столовой был, как всегда, обратный ход... Но этот проклятый «Обмен», дочитанный до конца вчера ночью, снова наваял такое смертное уныние и такую безнадёжность и так совпал с мокрой, вперемежку с опадающими листьями погодой, что требовалось что-то резкое, необычное – встряхнуть свою жизнь, как коктейль в тонкостенном стакане, не заботясь о том, как перемешаются его составляющие.

В тот день они ели какой-то сложносочинённый комплексный обед в столовой, где, оказывается, даже предполагались официантки и перемена блюд и где Роман чувствовал себя завсегдаем. А потом они в познавательных целях промчались под высокими сводами главного корпуса. «Архитектура позднего сталинизма», – смело пошутил он. И в этой откровенности, словно со своей, ощущалась та интимная грань, которую она готова была переступить. Университет имел даже своё собственное отделение милиции, что немало удивило Лялю.

Всё это в череде пустого, бессодержательного калейдоскопа его знакомых, которым он кивал на ходу,

почему-то создало у неё ощущение игры в «Бутылочку», как на дне рождения сверстницы  
в  
восьмом классе, где она впервые поцеловалась с парнем. Только теперь бутылочка, каза-  
лось, с  
каждым заходом крутилась всё более лихо и стремительно, увлекая её за собой в водо-  
ворот  
новой, опасной жизни – подальше от героев Трифонова с их безнадёжными сторубле-  
выми  
альтернативами.  
Бутылочка остановилась по мановению её руки, но так, чтобы парень как бы не  
догадывался об этом, указуя на тот летний солнечный полдень опоздавшего московского  
бабьего  
лета, когда клёны уже стояли в золотом оперении, но ещё не спешили сбросить его под  
ноги  
полуденным прохожим и под колеса трамваям с грациозными шарнирными дугами над  
головой,  
умными, заострёнными вперёд мордочками. Он, конечно, догадался, что она неспроста  
позвонила ему с вопросом: «Роман, ты сейчас занят?» Презрев все обязательства на весь  
остаток  
дня, он сказал с дендистскими интонациями: «Нет, Ляля, в жизни мужчины всегда есть  
место для  
горных восхождений, вина и внезапных встреч с женщинами». Ну что ж – тем лучше!  
Она и так  
уже сбежала с предпоследней лекции по научному коммунизму, и в запасе было с лихвой  
времени – часа три, если не больше.  
Через полчаса она уже стояла у станции метро «Парк культуры» прямо перед старым  
зданием своего института – ей почему-то пришло в голову встретить его именно здесь,  
у этого  
корпуса, а не около этого бетонного монстра на «Юго-Западной».  
Ляле захотелось по дороге к нему домой поблуждать по московским дворам, подставляя  
лицо нежаркому осеннему солнцу, размахивая сумкой с учебниками и по-детски вспры-  
гивая на  
бордюры тротуаров. Она всё для себя решила, и это решение дало ей внутреннее осво-  
бождение –  
теперь можно было болтать о чепухе, выспрашивать у него ненужные подробности аль-  
пинистских  
будней и перебивать его на полуслове каким-нибудь пустяковым замечанием. И вот, не  
дослушав  
его очередной пафосный пассаж о том, как они в режиме подготовки к восхождению  
гоняли  
прошлым летом по горам Тянь-Шаня с рюкзаками, набитыми булыжниками, она, разма-  
хивая  
руками, забегающая вперёд и прыгая перед ним, как горная коза, сказала ровным голосом,  
буднично, но так, что не оставалось места ни для сомнений, ни для возражений: «Мы сейчас  
идём к тебе!»  
Он всё понял с полуслова и невольно ускорил шаг. Впрочем, может, он старался не  
отстать от неё, кружащейся вокруг в беспечных пируэтках и перескакивающей с ноги на ногу?  
Он пропустил её перед входом в подъезд, и она, показав ему шутливо язык,

скомандовала: «Ну, альпинист, вперёд и вверх! Не отставай!» – и помчалась аллюром по лестнице

так, что он едва за ней поспевал.

Старая, с допотопной мебелью, запущенная квартира в пятиэтажке в отсутствие интеллигентской компании показалась ей неожиданно маленькой и более уютной, чем обычно.

Роман сделал поползновение выйти на кухню, чтобы поставить чай, но Ляля, с размаху швырнув

сумку с книгами на убитый бугристый диван, сказала:

– Не надо, лучше зажги ту свечку – ароматическую, из Индии.

Он проворно вернулся из кухни с коробком спичек в руках и вознамерился поджечь фитилёк, но Ляля, держа свечку горизонтально и прямо глядя ему в глаза, спросила:

– С какого конца поджигать?

Её активная роль в мизансцене подходила к концу. Осталось нежным жестом извлечь у него из рук спичечный коробок и швырнуть на пол в угол, а за ним и незажжённую свечку.

Он, уже

не колеблясь и не отвлекаясь на условности, ринулся к ней. Оставалась последняя ремарка в

сцене: она, прежде, чем поддаться его страстным поцелуям, всё-таки успела шепнуть, что совершенно неопытна и у неё никого не было. Правда, она забыла упомянуть, что ей ещё

не

исполнилось восемнадцати...

Роман, похоже, пришёл в восторг от её признания – Ляля почувствовала это благодаря своей женской интуиции, хотя внешне он сдерживал себя и как будто даже притормозил

– по

крайней мере, его руки заскользили по её спине медленнее и осторожнее, чем до этого.

– Ты только не переживай, всё будет замечательно. – Голос, который он не стал понижать до шёпота, звучал тихо, но явственно в абсолютной тишине квартиры, будто ручей в лесной чаще.

– Из нас двоих опыт у меня. Это как в горах на восхождении: важно не только что делать, а когда и

как.

Он аккуратно, стараясь не задевать ее спину пальцами, расстегивал лифчик на её спине, будто открывая альпинистский карабин. Погружая её лицо в свою бороду и целуя в губы,

в

перерывах уговаривал:

– Я знаю, как и что делать там... Тебе не будет больно, не бойся. Только слушайся меня.

Она послушно гнулась в его объятиях, невнимательно реагируя на ласки его рук и поцелуи,

стараясь не стесняться, когда он нежно и в то же время сильно и требовательно стал приникать к

её грудям губами, чуть покусывая соски и вгоняя всё её тело в какой-то вселенский озноб.

При

этом она старалась не пропустить того мгновения, когда он войдёт в неё, боясь и ожидая одновременно. Но он вовсе не торопился – он целовал её, спускаясь всё ниже и ниже, словно Том

Сойер, добросовестно красящий кисточкой забор, и шептал ей какие-то конфетные, чуть ли ни

детские нежности.

Он ласково раздвинул ей ноги в бедрах, и она инстинктивно напряглась, ожидая главного. Но парень был слишком хитёр и искущён, он совсем не торопился и не нервничал, как нервничал

тогда тот восьмиклассник, с которым она просто целовалась по указанию бутылочки.

Роман, снова

придвинув к ней лицо, на котором даже в полумраке старой комнаты пылал румянец, шептал ей

на ухо недосказанности, сопровождая этим несвязным словесным комментарием ласкательные

движения своих пальцев там, где она потихоньку начинала оплывать крупными капельками

прозрачной влаги, словно индийская свеча, которую они так и не удосужились зажечь.

Он незаметно убрал руку оттуда, и она снова напряглась в ожидании, но Роман, обнимая её теперь обеими руками, тем же негромким голосом, который, однако, явственно разносился по

всей комнате, сказал:

– Я ожидаю тебя и никуда не тороплюсь. И ты тоже не спеши. Скажешь мне, когда ты готова.

Она послушно мотнула головой, ощущая, как он аккуратно прислонился к ней там и стал нежно тереться, соскальзывая из разреза губ вверх на ее лобок и дразня её контрастом твёрдой, пульсирующей в возбуждении плоти и мягких, податливых округлостей, которые тоже прижимались к ней, норовя забраться в ложбинку её губ.

Он снова и снова проделывал с ней один и тот же трюк, чередуя эти твёрдые и мягкие прикосновения, и она понимала, что он терпеливо ждёт её, но при этом тоже ощущает что-то

потустороннее, от чего идёт озноб по всему телу. И когда его податливые округлости, завершая

очередной цикл, прижались к ней снова, она, понимая, что делает ему приятное, раздвинула ноги

как можно шире, влекомая больше нестерпимым любопытством, чем желанием, ну, и благодарностью к нему за его терпение, наконец решила и шепнула ему:

– Да, я готова! Прямо сейчас!

И он, вознаграждая себя за долготерпение, в этот раз нырнул глубже, а потом медленно, но без остановки заскользил по влажной тропинке для того, чтобы, уже не церемонясь и не

обращая внимания на её слабую преграду, прорвать её одним сильным рывком, который отозвался гримасой боли на её лице, вторгнуться в неё глубоко и вонзаться снова и снова,

пока

она, ошеломлённая, старалась не сомкнуть ноги и держать их так же широко, встречая его всякий

раз толчком бедер вперёд и навстречу. И эти распахнутые навстречу ему бедра почти сразу

сломили его, он с первобытным стоном вырвался из её плена, чтобы расплескать всё сверху по

ней – по её ногам, по смятой простыне и одеялу.

Роман, будучи галантным любовником, конечно, повторил всё на бис, перед этим нежно и тщательно смыв с неё в старом, хлещущем во все стороны душе следы своей нетерпеливой

страсти и даже специально поменяв простыню. В этот раз он мог позволить себе долго держаться, когда они слились в единое целое, и старательно доводил её до оргазма, который она, возможно, и испытала, по его настойчивой просьбе закрыв глаза и всё более похотливо вслушиваясь в тихие, с хрипотцой модуляции голоса, которым он описывал, не до конца называя вещи своими

именами, что именно он делает с ней и каким образом. Этот словесный комментарий почему-то

возбудил её чуть ли не больше, чем его умелые движения, и она, стыдясь сама себя и не в силах

замолчать, тихонько зарычала-застонала и впала в какой-то кататонический ступор на несколько

секунд.

Остальное не запомнилось вовсе. Она с опустошённой головой, под впечатлением от пережитого, но не в силах вспомнить ничего в деталях, да и не стараясь особенно, выбралась из

его квартиры и на автопилоте, бессознательно добралась домой. Дома Ляля так же машинально,

как ехала в метро, отправилась в ванную под душ – не расхлябанный, как у него, а бьющий

аккуратной водной лейкой в одном направлении из гэдээровского смесителя на гибкой змеевидной трубке, аккуратной и упорядоченной, как её жизнь до сегодняшнего дня. Она прошлёпала мокрыми ногами по пути из душа, чтобы снять трубку телефона, который мелодично

трезвонил в прихожей, – ей вдруг показалось, что это звонит Роман, забывший сказать ей ещё что-

то важное, что они сегодня пропустили там, в его постели, но вовремя вспомнила, что у него нет и

не может быть её номера телефона. Из трубки выпрыгивал синкопирующий, как у Пресли,

Лилькин голос, словесные перепады которого сводились к одному вопросу: «Ну что? Новости

есть?» И Ляля, перекормленная ощущениями, бесцветным голосом сказала: «Есть. Хорошие. С

подробностями и фоторепортажем. Но только в завтрашних газетах. Сейчас устала – не могу. И

родители вот-вот нагрянут». Лилька издала торжествующий вопль Пятницы, увидевшего Робинзона, и наконец-то отключилась.

А Ляля, в домашнем халате и с дежурным учебником в руках, приготовилась встречать родителей, не в силах отделаться от загадочной и совсем неуместной фразы из китайской даосской притчи тысячелетней давности, которую слышала на последнем сборище умников-

альпинистов от аспиранта-китаиста и которая вне всякого контекста снова и снова лезла ей в

голову: «Проникновение в триграмм позволю себе считать делом, достойным чертей и духов».

Лилька едва дотерпела до следующего дня и после занятий, загнав Лялю в парк на лавочку

под всё ещё греющие лучи солнца, устроила ей форменный допрос в стилистике

бескомпромиссного шерифа из американских фильмов: «Как? Да что? Да сколько раз? Да какой

он у него? Да что ещё он делал?» Но Ляля, переполненная ощущениями и ещё не отошедшая от

пережитого, отвечала односложно и больше по возможности отнекивалась, чем в конце концов

вызвала взрыв шутивого негодования у подруги.

– Слушай, с тобой не соскучишься! – воскликнула Лилька с напускным отчаянием. –

То ты

изображаешь из себя тургеневскую девушку, всю такую Асю в белом – ни одного поцелуя без

любви и вся такая хрень! Впрочем, всё лучше, чем эта дура из «Комсомольской правды»

Елена

Лосото – такой себе Павка Корчагин в юбке. А оказывается, что ты не Ася и не Лосото, а Незнайка

из Солнечного города. Читала? Тот, которому приказали не рассуждать, а отвечать: «Да, господин, нет, господин». Понятно? А он в ответ: «Да, господин, нет, господин». А ему: «Ты что, дурак?» А он

в ответ: «Да, господин, нет, господин». Так и ты.

Но Ляля, несмотря на словесные атаки подруги, только улыбалась внутренней потаённой улыбкой, вся оставаясь во власти того, что произошло с ней вчера, чем, кстати, безумно раздражала Лильку, как раздражает любого человека эмоциональное отсутствие собеседника,

участвующего в разговоре лишь так, ради проформы.

И Лилька-шериф, за неимением самых свежих улик о тайнствах плотской любви,

бросилась в лихорадочный пересказ старых, позаимствованных то ли от других своих подружек,

то ли из собственного богатого опыта деталей, сопровождаемый изрядной долей дидактики в

духе «вот ведь как бывает!» Если и был волшебный ключик, которым можно было отворить

наглухо замкнутое на себе сознание Ляли, то именно вот этот бесстыдный пересказ того, как это

было у других, чего она так опасалась прежде. Но теперь, когда она была надёжно вакцинирована

от чужих душевных инфекций своей собственной – тем, что она ощутила вчера, лёжа под ним, –

чужие злоключения потеряли для неё всякую опасность. Лилька, войдя во вкус, продолжала

ораторствовать на любимую тему, и Ляля с некоторой оторопью поняла, что ей, наверное, повезло, если сопоставлять её опыт с тем, что описывала Лилька, иллюстрируя свою лекцию

примерами многочисленных подруг. Ляля, наконец, откупилась от посягательств подруги на

подробности одной лаконичной фразой: «Если твои подруги-бедолаги не врут и их лишали

девственности вот так, как ты рассказываешь – какие-то любители-самоучки, слесари-интеллектуалы, – то тогда мой вчерашний Роман, судя по всему, виртуоз». Само слово «виртуоз»

погрузило Лильку в ещё большую агитацию, но Ляля молчала, как цельный в своем моралистском характере ковбой из бескрайней Монтаны, которого не расколоть на допросе с

пристрастием ни одному нечистому на руку шерифу.

Роман и на самом деле был виртуозом – и она осторожно, постепенно убедилась в этом, опровергнув для себя это лукавое прилагательное «вчерашний». Нет, он постепенно стал для неё

и «сегодняшним» и «завтрашним», потому что она небрежно, будто походя, продолжала назначать ему встречи раз в неделю, уже не притворяясь, что ей нужно что-то ещё, кроме этого...

Чтобы он аккуратно, без надменности и суесловия учил её в постели. Этот выбор мог показаться

странным, ибо в повседневной жизни и на вечеринках, куда она ради светского протокола появлялась хватить очередную порцию масонско-альпинистских мудростей и тайком сравнить

себя с девушками в шерстяных юбках и джинсовых куртках на голое, без лифчика, тело, он

токовал как тетерев в брачную пору и потому мало отличался от остальных. Все эти вечеринки,

болтовня, все эти встречи-пересечения с аспирантами, эмэнэсами, горновосходителями, стройотрядовцами, работниками НИИ и закрытых номерных «ящичков» являлись для него

природной средой обитания, экологической нишей для подотряда хищников-мужчин с претензиями на интеллект. Но в сексе он раскрывался с другой стороны – как умелый скрипач,

который проделывает такие чудеса мастерства и берёт такие ноты, что можно было только восхищаться... или учиться. И она, внутренне поражаясь тому, как судьба, смеясь, снова и снова

уготовливает ей роль ученицы, теперь вот и в самом интимном, в этом, послушно и с интересом

училась, стараясь не думать о том, что бы сказали родители, узнав о таких «уроках». А Роман,

подобно Пигмалиону и, похоже, чувствуя себя таковым, лепил из неё женщину. Он руководил ею

и одновременно давал свободу, чутко улавливал все движения и тактично корректировал: здесь

ты поняла меня, вошла в такт, а вот здесь – фальшь, перебор, не ту ноту взяла. И Лялька слушалась

и повиновалась. И старалась, как первая ученица.

До того, как это случилось, ей думалось, что секс – это какие-то акробатические упражнения, сопровождающиеся приятными ласками. Ну а теперь, когда он нежно и в то же

время сильно и требовательно приникал губами к её соскам или ласкал там, или просто трогал в

таких местах, где к ней прежде не прикасался никто и никогда, Ляле казалось, что она взмывает

куда-то в поднебесье. Новые, какие-то взрослые ощущения волновали её и оставались в памяти

на весь день, на всю длинную неделю, вставали перед мысленным взором на лекциях и

семинарах, пугая яркостью видений и неуместностью. А главное, теперь у неё была тайна, которую никому, кроме Лильки конечно, она не собиралась раскрывать. И ещё: она научилась

быть двуличной! Оказалось, что секс – это тот водопад, излучина двух полноводных рек, где

сливаются воедино два самых сильных потока жизни – искренность и лицедейство, реальность и

игра в неё.

Постепенно втягиваясь в игру, в это шпионское двуличное существование, она откровенно

играла с Романом, изображая страсть. Подставляя под град поцелуев лицо, она внутренне подсмеивалась над ним: «Прямо-таки Love-machine, а не человек». Впрочем, он сам её этому

научил, наверное, ведь все его ласки были хорошо поставлены, отрежиссированы и уж точно

многократно отрепетированы с другими – в этом она не сомневалась! Она пыталась представить

себе, как ведут себя с ним те другие, с янтарными бусами из Прибалтики на шее и шерстяными

свитерами, под которыми плескались их тощие, без лифчика, груди? Снимали они эти бусы перед

этим? Или нет? И как, интересно, он начинал прелюдии с ними? Так же, как и с ней?

С конфетных

словесных сладостей, неизменно произносившихся с лёгкой хрипотцой в голосе,

перемежающихся просьбами-наставлениями – что, куда, как быстро? И его ласки и поцелуи во все

эрогенные точки, о существовании которых Ляля, к стыду своему, узнала именно от него, Романа...

А у тех, других – эрогенные точки где? Сильнее или слабее, чем у неё? И соитие – как это выглядит

не с ней, а с другой женщиной? Её подмывало спросить об этом, инстинкт первой ученицы толкал

поднять руку и задать вопрос – но, конечно, это было немыслимо! Да, он был много опытнее её,

как книгочей, через руки которого прошла целая библиотека. А она только-только научилась

читать эту книгу, с книжным же именем «Роман» (ещё одна усмешка судьбы!). Она ещё в восхищении шевелила губами, произнося строчки и всё ещё поражаясь тому, как из маленьких

буковок складываются слова и фразы. Но внутренний женский гонор шептал ей, что есть и другие

книги, и их тоже предстоит прочесть! С каждой неделей этих сексуальных свиданий в ней росла

уверенность: она уже взрослая, опытная женщина, знающая многое «о них», этих непонятных

существах, этих инопланетянах, так выразительно окидывающих её нескромными взглядами на

улицах и в метро. И она тоже стала смотреть на них другими глазами.

А тут ещё Лилька, неутомимая в поиске идеального самца, приставала к ней с вопросами

в стиле анкетирования: ну, а этот как? в твоём вкусе или нет? а почему нет? а ты-то, дурочка, что –

думала, что они все одинаковы? а для тебя что самое важное?

В довершение ко всему Лилька навязала ей ежедневную игру – просмотр украдкой гипотетических кандидатов на улице и в метро по дороге домой из института на предмет интуитивного определения: а каков он в постели? И они, как две норовистые козы, вдруг согласно

начинали отрицательно мотать головами из стороны в сторону в знак полного отторжения кандидата, или столь же нелепо утвердительно кивали головами, вызывая вопрошительные взоры

других пассажиров. Впрочем, сплошь и рядом они расходились во мнениях, чаще всего Ляля,

штудировавшая реалии американской жизни по журналу «Тайм», который ей исправно поставлял

Жора из спецхрана, объявляла что-то типа «коллегия присяжных не пришла к согласию» – ей

претили многие кандидаты, на которых Лилька готова была без колебаний броситься. И Лилька, в

притворном раздражении восклицала:

– Ну, раз нет консенсуса, обвиняемый считается невиновным, то бишь, несмотря на свою кажущуюся преступную неказистость, весьма и весьма... Ничего ты в мужиках не понимаешь,

росомаха! Это же кусок секса!  
\*\*\*

Всю жизнь приходится делать не то, что хочется, а то, что нужно. Прямо-таки как в той, давней уже остроте из КВНа: «Чем надои отличаются от удоев? Тем, что в них есть слово “надо”»!

Боже, сколько он за свою жизнь переделал дел по принципу «Не хочется, а надо!» А, с другой

стороны, если подумать, в этом всегда оказывался какой-то потаённый смысл.

А тогда, в 1972-м, это что было? Тоже ведь божий промысел! Ведь не хотел он ехать в Чегет – тем более что на лыжах стоял, может, второй раз в жизни. В Донбассе снег не норма, а

погодная аномалия. А гор и подавно нет. В общем, ехать и позориться совсем не хотелось.

Да и

экипировки не было. Пришлось покупать за последние деньги этот жуткий совковый спортивный

костюм из шерсти, на котором красовалась надпись «Спартак», что ли? Да, именно «Спартак». И

ещё та бежевая польская куртка – совсем не в тон. «Как я одевался тогда... Как вспомню, так

вздрагну!»

И ехать совсем не хотелось, но почему-то было ощущение – «надо». Да и какой смысл сидеть в Москве в пустой общаге? А в Изотовке три недели после сессии тоже делать нечего. И он

полетел с приятелями на ИЛ-18 – том самом, четырёхмоторном, который теперь только в хронике

увидишь. Кстати, очень надёжный самолёт. И как планер, и по моторной группе. В случае отказа

мог на двух двигателях долететь. Правда, думать о таких вариантах не хотелось. Полу-  
выстывший  
на морозе салон, стюардесса из Внуковского авиаотряда с покрасневшим от холода  
носом,  
леденцы «Взлётные»... Боже, да было ли это? Хорошо, что припасли фляжки с грузин-  
ским  
вермутом за рубль семнадцать. Редкостная гадость. Но тогда они согрелись, и мысли о  
посадке с  
отказавшими двигателями ушли из головы весьма кстати.

Назавтра на склонах, конечно, пришлось приятелям признаться, что горные лыжи – это  
не  
для него. Отмазка вполне уважительная: Донбасс – это, исторически говоря, Дикая степь,  
и по ней  
если кататься, то только на лошади. Этой лошадю, которую почему-то сразу все вооб-  
разили, как  
живую, он их пронял, конечно, – на лошади верхом никто из них не ездил! Кроме него,  
как  
явствовало из его уверенного тона. Проверить эту ложь никто не мог, и они от него  
отстали.

Спасибо и на том, что научили лыжные крепления застёгивать да показали, как делать  
повороты и  
тормозить на коротких горных лыжах. Хорош он был тогда – неуклюжий, в этом чёрто-  
вом  
шерстяном костюме, в той совдеповской куртке... Да ещё неумело скользил не вниз, а  
поперёк  
склона, стараясь не попадаться на глаза знакомым из МАИ.

## Глава 2

«Стою на вершине...»

Новый, 1972-й год и окончание сессии две подружки отмечали в кафе «Крымское» на  
«Парке культуры», которое завсегдатаи – сплошь мгимошники и инязовцы – именовали  
не иначе  
как «Крым». В «Крым» сбегали с лекций, там готовились к экзаменам, обменивались  
конспектами, списывали задания. В общем, там собирались все свои, за исключением  
редких  
вкраплений цивилизной публики.

Признаком «своих» были громкие, без оглядок на окружающих разговоры и здоровый  
жеребчий смех без риска получить в ответ осуждающий взгляд кого-нибудь из персо-  
нажей

средних лет, которых невоздержанная на язык Лилька в присущей ей манере называла  
«26  
бакинских импотентов», или их сверстниц, растерявших остатки сексуальности, но не  
утративших

желания осуждать её в молодых. Поскольку ребят там всегда оказывалось больше, чем  
девчонок,

Лилька постоянно устремлялась в «Крым», как стремится на свежевспаханный луг скво-  
рец в  
поисках жирных отборных червяков. Вот и сейчас Лилька оценивающе осматривала

присутствующих, одновременно слушая подругу, которая оживлённо и с чувством облегчения  
щебетала о своём. И немудрено – сессию сдала на пятёрки, зачёты стали формальностью.  
А самое  
главное – в тот день с утра из «Кремлёвки» выписали, наконец, Жору.  
Здорово он тогда их всех напугал – загремел с микроинфарктом, к счастью не очень тяжёлым. У Ляли гулко, как-то потусторонне застучало в ушах, когда они вдвоём с матерью, обе в  
белых халатах, стараясь ступать на цыпочках, вошли к нему в палату. Жора, обычно загорелый –  
воплощение лозунга «солнце, воздух и вода» даже в гриппозной, обесцвеченной зимней Москве  
– на этот раз выглядел каким-то иссиня-бордовым, а черты его лица стали резче – точь-в-точь как  
на снимках сельских армян, которые Ляля видела на страницах журнала «Советский Союз». Отец  
широко улыбнулся им навстречу, но Ляле почудилось, что где-то глубоко в его взгляде засели  
искорки страха. И это испугало её больше, чем нездоровая бордовость его щёк. Ляля кинулась к  
нему, пряча за суетливостью движений собственный страх, и, искусно интонируя армянский  
акцент, шутливо восклицала:  
– Послушай, ара, видишь что бывает, когда коньяк пьёшь по-русски, по-шалтай-болтайски.  
Панимаешь? Настоящий армянин коньяк закусьвает, и обязательно персиком!  
Жора смотрел на неё, как добрый незадачливый пёс, которого заботливая хозяйка в последнюю минуту оттащила за тугой ошейник от края смертоносного обрыва, и Ляля вдруг  
впервые почувствовала, как сильно и безотчётно она на самом деле любит отца. Всё время визита, пока Валентина подробно расспрашивала мужа о лекарствах, кардиограммах и результатах  
анализов, Ляля смотрела на него будто с помощью какой-то новой, доселе не испытанной оптики  
для души. Она впервые почувствовала себя в его присутствии взрослой женщиной, готовой к  
ударам судьбы, а он ей представился просто мальчишкой, пусть и с лёгкой примесью седины на  
висках. Наверное, Жора тоже что-то почувствовал, ощутил интуитивно, что тот инфаркт неспроста, что это какой-то сигнал свыше – пусть невнятный и не очень поддающийся расшифровке, но знак  
судьбы. С присущим ему умом и проницательностью он понял: надо что-то поменять, безразлично что, но поменять радикально. Повинуясь скорее житейскому инстинкту, чем здравому смыслу, он пошёл на авантюрный, с точки зрения армянина, поступок – отпустил свою  
взрослую дочь на Кавказ на зимние каникулы.  
Ещё до своего выхода из больницы Жора раздобыл через МИД две путёвки на горнолыжную базу в Чегете, о чём и не замедлил торжествующе сообщить Ляле по телефону. Это

прозвучало так неожиданно... Она была сбита с толку:

– Поехать вдвоём с мамой на лыжах кататься? А ты как? Оставить тебя здесь одного? Нет, не пойдёт.

Жора на другом конце телефона жизнерадостно выдал своё любимое «отнюдь нет», и Ляля окончательно убедилась в том, что у него дела пошли на поправку.

– Нет, Лорис-Беликова, дитя солнечной Армении! Предлагаю тебе поехать с твоей подружкой – как её, Лилей. Созвонись с ней к вечеру – мне нужно путёвки выкупить в

профкоме

до конца недели. Заодно и лыжный костюм свой опробуешь – тот, австрийский, красный.

А то мой

подарок уже два года в шкафу без дела валяется.

И вот они сидят в кафешке вдвоём, Лилия и Ляля, предвкушая отъезд на Кавказ, и

проводят уходящий год полусладким шампанским и пломбиром с арахисом. После

каждого

глотка Ляля слегка морщится (она пьёт только брют), а Лилие – в самый раз. На неё

вдруг

нападает безотчётное веселье, и она, давась от приступов смеха и разбрызгивая шампанское на

ворот водолазки, рассказывает Ляле, как на днях мучилась над составлением индивиду-

ального

комплексного плана по учебной и общественной работе.

– Представляешь, пристал этот комсорг группы: все давно отстрелялись, одна ты, видите ли, не сдала. У него кличка – Элвис, а знаешь почему? Делает себе такой кок с пробором и псевдобаки, как у короля рок-н-ролла. Я ему на ватмане написала каллиграфическим

почерком:

«Обязуюсь проштудировать три источника и три составные части молодёжного движения

на

Западе – секс, наркотики и рок-н-ролл». И вторым пунктом: «Обязуюсь совратить Элвиса

в

приемлемое для него время». Видела бы ты, как он покраснел! Даже испариной

покрылся!

Лилия опять закатилась смехом, так что на них стали оглядываться сидящие за соседними столиками молодые люди.

– А что, неплохая идея, кстати, – задумчиво сказала Ляля. – Насчёт плана на будущее, тем более комплексного, не уверена: будущее всегда теряется в тумане. А вот подвести итоги

года

можно. Достижения года: окончание школы, поступление в институт и потеря девственности.

Фильмы года: «12 стульев», а из западных – «Декамерон», на закрытом просмотре видела. Книга

года, пожалуй, «Никогда не люби незнакомца» Гарольда Роббинса – я в подлиннике прочла.

Дурацкий перевод названия, правда? «Never Love a Stranger» звучит куда лучше.

– Слушай, а чем у тебя роман с Романом закончился? – спросила Лилия, нарочито играя словами, – вы после этого что, не встречались?

– Встречались несколько недель регулярно. А потом как-то нет, знаешь... Что-то в нём не то... Хотела бы я знать, сколько у него баб было. Десятки, пожалуй... Но дело не в этом.

Помнишь

сюжет Возрождения «Леда и лебедь»? Во всех картинных галереях мира есть варианты. По-моему, даже у Микеланджело. В постели он нежный, как Лебедь; и ласки у него как у лебеда – уж не знаю, что тут символ чего – лебединая шея крепкая и гибкая, как... – дальше сама можешь представить; а я для него – Леда. Для него, кажется, любая... – тут Ляля запнулась, не решаясь произнести слово, – Леда. С ним здорово, когда он тебя... – она опять запнулась, – когда он это с тобой делает. А потом – что-то не то. Сама не знаю почему. Я тут случайно школьную программу по литературе вспоминала и подумала: представляешь, если бы Чацкого и Молчалина соединить в одного человека? Вот как раз Роман бы и получился. И ещё, знаешь, лучше бы он молчал.

Слишком много слов – он мне даже Пушкина цитировал как-то после этого, что-то вроде: Она покоится в объятиях Зевеса;  
Меж ними юная любовь, –  
И пала таинства прелестного завеса.  
Нет, я ему благодарна, конечно, это же его усилиями пала моя «таинства прелестного завеса».

Она не стала уточнять для Лильки, что всё равно навевалась в ту квартиру с просевшим диваном и с так и не зажжённой индийской свечой. Секс с мужчиной – не именно с Романом, а просто мужчиной со всеми его работающими мужскими атрибутами – понемногу приобрел для неё самодовлеющий характер, и её тянуло в этот омут, хотелось сладкого так, как иногда хочется вот этого мороженого, что сейчас томно оплывало в её чашечке под тяжестью арахисовой крошки.

Другое дело – сколько в этом мороженом сахара и прочих наполнителей... Роман, кажется, стал от неё отставать в эмоциональном развитии, что ли? Ей в последнее время хотелось, чтобы взял её, овладел ею какой-то властелин, хозяин, повелитель, который бы скрутил её в бараний рог и изнасиловал – ну или, по контрасту, пылкий юноша-девственник, у которого ещё никого не было.

Вот как этот, за соседним столиком, что так смешно покраснел в ответ на Лилькины авансы. А Роман со своим альпинизмом, помноженным на интеллигентские лясы, клонящиеся к бардовским песням вперемешку с йогой и литературщиной для приманки аспиранток с филфака, напоминал ей двигатель, работающий на холостом ходу, без сцепления с колесами. Впрочем, этот мыслительный конструкт был, наверное, не для Лильки – не в коня корм. И потому Ляля вслух сказала с несколько наигранной грустью:

– Любви хочется, чувства «большого и чистого», как у Дорониной.  
– Ну, насчёт любви не гарантирую, – Лиля всё ещё не отошла от своего весёлого настроения. – Вот большого, а главное чистого обязательно найдём, – хохмила она. – По-моему,  
ты мудришь. Спасибо скажи Роману, что эту твою завесу так умело раскрыл. Жаль, что мне он  
вовремя не попался. До сих пор оторопь берёт, когда своего первого вспомню. Не умеешь  
– не  
берись! – со смехом добавила она, и со значением зыркнула на молодых людей за соседним  
столиком. Их головы, как по команде, повернулись в сторону девушек, а один густо покраснел.  
– У меня составлен комплексный план, – нарочито громко начала она, – как минимум четыре мужика в наступающем году. Программа называется «Времена года» Вивальди! Чувствуешь, что я музыкальную школу закончила? – И она выразительно подмигнула покрасневшему юноше.  
– Ну это ещё ничего! – в тон ей лукаво воскликнула Ляля. – Могла бы быть музыкальная сказка «Двенадцать месяцев».  
Лиля снова заразительно рассмеялась и сказала:  
– Всё, хватит! У меня уже щёки от смеха болят. Давай ещё по мороженому?  
\*\*\*  
К турбазе ехали на автобусе. Водитель-кабардинец отчаянно лихачил, автобус то рывком срывался на высокую передачу, то вдруг резко тормозил, как осажённый скакун, и женская  
половина пассажиров, к удовольствию кабардинца, взвизгивала от страха – частью напускного,  
частью непроизвольного. Пару раз останавливались, когда какая-нибудь из девчонок, сидевших  
впереди, подбегала к водителю, закрыв рот рукой в варежке, и отчаянно жестами просила выпустить её на обочину. Лялю не тошнило, и она всюю вертела головой, с интересом разглядывая тёмные пирамиды сосен по обе стороны. Ей казалось, что автобус попал в готический  
собор, разве что созданный из снега и сосен – в такой она заходила во Львове несколько лет  
назад. Лилька, неумолимо болтавшая всю дорогу, вообще отсела назад, где было пять сидений в  
ряд над двигателем и где сидели молодые люди, которых не понимали ни тряска, ни крутые  
повороты, ни выхлопные газы. Они даже успели несколько раз приложиться к фляжкам, куда  
предусмотрительно перелили болгарский коньяк «Плиска», и наверняка угостили Лильку – потому  
что та хохотала громче обычного. Оглянувшись пару раз, Ляля увидела, что та с хохотом пересаживалась с одного сиденья на другое, не упуская случая приземлиться на колени  
к  
какому-нибудь из попутчиков.  
– Вивальди, «Времена года», композиция «Зима», – громко объявила Ляля, поднеся ко рту  
свёрнутый листок бумаги наподобие микрофона.

Лилька просто захлебнулась от смеха, а кто-то из молодых людей, поняв Лялькино объявление буквально, заметил:

– Какая у вас подруга эрудированная, однако.

– Да, эрудиции ей не занимать, – давясь от хохота, парировала Лилька. – Главное – суметь грамотно применить на практике полученные знания.

Тёмная хвоя сосен на последних километрах перед Терсколом отступила в сторону и пропала, открылись склоны Чегета с нитками подъёмников и трассами спусков. Крошечные точки

– фигурки лыжников на снегу – напоминали яркие крошки на белоснежной ресторанной скатерти.

На турбазе сбросили вещи и второпях, стараясь успеть до ужина и наступления темноты, выскочили на ближайший склон. Снег был глубокий и рыхлый, так что Ляля, несмотря на свою

субтильность, утонула в нём по колено. По склонам носились лыжники, вздымая на виражах

облака снежной пыли. Ляля с некоторой оторопью сообразила, что горнолыжные скорости вполне

сопоставимы с мотоциклетными, и решила ограничиться тем, что попроще. Когда подошла её

очередь, она всё-таки взяла напрокат горные лыжи – так, на всякий случай, вдруг понравится. Но

больше надежд она возлагала на обычные, равнинные, которые она тоже попросила, игнорируя

насмешливые взгляды студентов, стоявших в очереди за ней. Тех, кажется, раздражали не столько

эти равнинные лыжи напрокат, изрядно потёртые и резко бьющие в глаза своим несоответствием

с её ярким фирменным костюмом, сколько сам этот костюм, вызывающе модный и красивый, –

недосягаемая мечта даже для лыжников общества «Буревестник», которые готовились здесь к

Спартакиаде профсоюзов.

– Девушка, а у вас что, четыре ноги? – сострил один из них. – Что-то незаметно.

Ляля смерила их вызывающим взглядом и сказала:

– Да нет, готовлюсь к чемпионату мира по биенскиингу.

Этот вид спорта она только что придумала, соединив первую часть от первого пришедшего

на ум слова «биенале» – фестиваль, проходящий два раза в год, и «skiing» – катание на лыжах.

Умники из «Буревестника» уважительно закивали, делая вид, что уж им-то такой вид спорта, конечно же, известен, а как же?

Лилька, стоявшая рядом, заржала, как скаковая лошадь, готовящаяся к выезде.

Она-то, в отличие от подруги, решила испытать на каникулах все радости жизни и на следующее утро, сразу после завтрака, исчезла на весь день вместе с новым знакомым – кажется, тем самым, который накануне привёл её к дверям их номера глубоко за полночь; Ляля сквозь сон

слышала, как они подозрительно долго возились и глубоко, протяжно вздыхали у входа, не до

конца закрыв за собой дверь.

Ляля, по правде сказать, радовалась свалившемуся на неё одиночеству: нужно как-то остыть от горячки уходящего года, подвести итоги, покопаться в собственных мыслях, не отвлекаясь на чужие. Да и микроинфаркт отца как-то здорово вздёрнул её психику, так что покой

пришёлся кстати. Дня три она жила размеренной жизнью праведницы: поднималась на подъёмнике на гору, чтобы полюбоваться волшебным зрелищем – прямо перед ней высился

Эльбрус, а у подножия синели сосновые леса Баксана, – благостно ела на завтрак обязательный

творог со сметаной, а на ужин пила кефир, скудно посыпанный кристалликами рафинада. Каждое

утро час-полтора с каким-то философски спокойным отречением каталась на пологих склонах

рядом со зданием турбазы, время от времени сверяясь с часами, чтобы ненароком не вернуться в

номер раньше времени и не нарушить сексуальный марафон Лильки с очередным персонажем из

цикла Вивальди. На снегу почему-то особенно ясно думалось, несмотря на лёгкую, как далёкая

мелодия, головную боль – знак высокогорья.

А потом из ниоткуда появился он – Вадим Савченко...

Он сначала обратил внимание не на неё, а на яркий лыжный костюм, который что-то ему мучительно напоминал. Она неторопливо скользила вниз по склону. Удивительно – одета как на

Олимпиаду в Саппоро, а катается не торопясь, без шика и снежных фонтанов. Савченко вдруг

сообразил тогда, что напоминает ему тот вишенно-красный костюм, – ну конечно, мотоцикл

«Ява»! Мечта любого половозрелого идиота из Изотовки! И главное, чтобы на бензобаке, таком

же ярко-красном, как и весь мотоцикл, красовалась переводная картинка какой-нибудь белобрысой, распутно улыбающейся Гретхен или Анники из ГДР.

«Да ёлки-палки! Как же я забыл?! – воскликнул про себя Савченко, окончательно расставаясь с остатками сна. – Да, вот эти пошлые переводные картинки, их привозили пацаны из

соседних пятиэтажек, служившие срочную в ГДР. И эти красавицы улыбались седоку мотоцикла

блудливо с бензобака, в опасной близости с промежностью. У меня самого вроде была такая

картинка – кто-то подарил. Точно, была! А куда я её дел? Чёрт знает! За неимением мотоцикла. И

даже не поменял, а можно было бы на что-то поменять... Интересно, что с годами ничего становится не жалко. Только прожитых лет... и тех женщин, которых не удалось... Да и то не всех».

А она была хороша в том костюме, куда лучше мотоцикла «Ява»! И он катил на лыжах за ней в отдалении, всё время сзади, чтобы не позориться в своём нищенском костюме. В таком

сиротском одеянии если уж показываться, то надо кататься как бог! Его костюм – это жалкий

мопед; как эти мопеды назывались? «Верховина»? Точно, «Верховина»! Редкостная по уродливости конструкция! Содрали, как водится, у немцев по трофейным репарациям.

И гнали  
производство, не стесняясь, до семидесятых. А она – «Ява». Или даже лучше – «Jawa». Савченко вспомнил, как в детстве, совсем маленьким мальчишкой, воображал себя машиной «Волга» с оленем на капоте. А иногда – «Москвичом-408». Ничего странного, у всех мальчишек такие фантазии. Их манят машины, они кажутся им живыми существами.

Как это в  
психологии называется – антропоморфизм, что ли? Когда «Москвич» кажется тебе маленьким живым существом с удивлёнными круглыми глазами? И звук его мотора как интимное рычание какого-то милого животного. Да, ты одушевляешь это странное существо, и жалеешь лишь о том, что оно не твоё. И ты завидуешь чистой детской завистью тем немногим счастливым, которые свободно берутся рукой за элегантную дверную ручку этого «Москвича», чтобы утопить кнопку в её основании и, открыв дверь, сесть с восторгом, какой бывает только в детстве, в красивые дерматиновые формы его сиденья.

«Какой я был тогда зелёный лопух, – с иронией подумал он. – В 23 года воображать себя мопедом, а красивую женщину – мотоциклом из далёкой, как сказка, Чехословакии. Вот что значит быть запоздалым девственником – даже фантазии не эротические, а какие-то детские. А впрочем, не жалею ни о чём. Здорово всё-таки, что моя первая женщина – вот такая».

Тот год, 1972-й, вообще получился каким-то вещим. Если задуматься, вся его жизнь, весь маршрут этого тяжёлого состава, со всеми промежуточными станциями нарисовался тогда, в январе, на склонах Чегета, где он стыдливо слонялся в одиночестве, неумело раскатывая лыжи до подобия скольжения, и с кошачьим любопытством поглядывал на красную фигурку на снегу. Он даже помнил, как выглядел этот снег, на который уже упали тени, подсвеченные морозным багровым солнцем, что спешно закатывалось за гору. Снег был бело-серебристого цвета, как пепел от сгоревших углей костра, в котором в детстве с Димычем, Игорем Клопковым и Витькой Иричуком пекли картошку на втором газоне проспекта Победы. Этот бело-пепельный цвет здорово выглядел бы в отделке интерьеров «Боинга».

\*\*\*

Он к тому дню управлялся на лыжах уже неплохо, даже виражи закладывал, умело кидая тело то влево, то вправо. Потому и увлёкся, потеряв за этими экзерсисами яркую фигурку из виду.

Подумал, что она на базу уже ушла, и решил ещё раз для закрепления навыков, а лучше – для небольшого куража скатиться от подъёмника до основания склона, за грядой которого начинались другие, совсем нешуточные трассы, куда ему, с его степным прошлым, лучше не соваться. Снег уже подмерзал и зло шуршал под кромками лыж, которые не тормозили, а, наоборот, опасно несли вперёд. И Савченко таки поймал кураж – стремительно и даже с виражами скатился вниз, едва не завалившись на спину, когда лыжи на секунду взмыли в воздух на небольшом бугорке. Вот там, где склон уже полого выравнивался, среди миллиона лыжных следов, нарезанных за день, он вдруг снова увидел эту красную каплю её костюма, совсем не яркую, а скорее винно-бордовую в наступающих сумерках. Она сидела на снегу, отчего казалась почему-то больше, чем раньше, при дневном солнце. Одна лыжа валялась в стороне, и он тогда с одного взгляда почему-то своим геометрическим мышлением представил другую, ту, что на левой ноге, как основу равнобедренного треугольника по отношению к её телу. Здорово он тогда заложил вираж рядом с ней! Снегом её не засыпал, но фонтан получился эффектный. За такой вираж можно было простить любой совковый лыжный костюм! Она уже сняла шапочку, или, может, та слетела во время падения? – и ещё сквозь пелену поднятого им самим снежного фонтана он мельком увидел её густые, разлетающиеся в стороны чёрные волосы. Она поворачивалась к нему медленно, как главная героиня в фильмах Феллини. А ещё Савченко видел такое лицо и такие волосы на одном из полотен в художественной галерее в Таганроге, где был с родителями на экскурсии прошлой зимой. Та Женщина с картины, конечно, запомнилась ему не только и не столько лицом, сколько тем, что художник изобразил её в костюме Евы. Тщательно выписанные женские прелести, которые тогда вызвали волну пошлых шуточек у мужской части экскурсионной группы, долго потом мучили его по ночам, не давая ему спать и живописуя всякие непотребства, которым ему так хотелось с ней предаться. Впрочем, таганрогская аналогия осенила его потом, много позже. Ему не пришлось изобретать фразу – она сложилась сама собой, и он почему-то шутивно, без запинки отрапортовал голосом образцового стража порядка: – Горно-егерская альпийская служба! Сообщите, что произошло? Почему Вы лежите перпендикулярно лыжам? Ляля с секундной оторопью посмотрела на него, а потом расхохоталась: – Как, как? Перпендикулярно? Вы что, из Германии? Немец? Или, скорее, эстонец? Что за

лексикон странный – альпийская служба! Помогите мне лучше встать... Как там у вас? Вертикально, а не перпендикулярно – на лыжи. У меня нога из крепления выскочила, вот я и свалилась. Хорошо, что не на склоне, а уже здесь, на выезде. Меня, кстати, Лялей зовут.

А под каким именем числится горный егерь? Никогда он с такой непринуждённостью не называл своё имя женщине! С ней почему-то было легко с самой первой минуты, и пока он заново водружал её ботинок в крепление лыжи, вдохновенно болтал милую чепуху, вполне органично оставаясь в образе гипотетического егеря с действительно каким-то немецким (а скорее тирольским) складом ума и построением фраз. Ляле понравилась эта словесная игра, и она, с иронической покорностью следуя за своим нарочито строгим провожатым и несколько пыхтя от усилий и преодолеваемой усталости, пару раз назвала себя в третьем лице «фройляйн Ляля», а под конец, расхрабрившись, назвала его «майн либе егер» и даже «майн херц». Он не совсем складно работал лыжными палками, вышагивая сбоку и чуть впереди, время от времени останавливаясь, чтобы она могла отдышаться, при этом внимательно разглядывал её лицо. Тогда он и вспомнил ту, что на картине в Таганроге, но целомудренно прогнал от себя образ всего, что могло скрываться под тканью лыжного костюма.

Как там у поэта – большого любителя женщин и завистника Пушкина? «Будто бы вода – давайте мчать, болтая, будто бы весна – свободно и раскованно». Вот так и он чувствовал себя тогда – мчал, а не карабкался на лыжах к турбазе, и они обменивались какими-то малозначащими, но лёгкими и искрящимися, как весенние сосульки, фразами. Она, что любопытно, не сразу расшифровала аббревиатуру МАИ, да и, расшифровав, кажется, не оценила породистость его вуза. Впрочем, самолёты – это её впечатлило.

– Пассажирские? – несколько наивно спросила Ляля.

– И они тоже. Но преимущественно сверхзвуковики. Истребители. Впрочем, для очаровательных девушек все подробности покрыты завесой секретности. – Эту фразу он договаривал уже на складе, где они сдавали взятые напрокат лыжи, стараясь своим голосом перекрыть сердитые возгласы кастелянши, которая требовала, чтобы возвращающиеся со склонов студенты тщательно очищали лыжи и ботинки от налипшего снега.

– Егерь, давайте на «ты», – предложила она так беззаботно, что он только усмехнулся и в тон ей сказал:

– Ну что же, конечно. Тем более что со слова «ты» начинается самая употребительная в мире фраза «Ты есть хочешь?» Потому что егери... А как, кстати, правильно – егери или егеря? ...за день скитаний по склонам, спасая красивых девушек, проголодываются – фу, какое слово нескладное, захачивают? захотевают? – совсем запутался. В общем, доходят до волчьего состояния и могут этих красивых девушек покусать.

– Хорошо, веду тебя есть, – послушно кивнула Ляля, – хотя меню в этой столовой не балует

разнообразием. Биточки с пюре, винегрет и компот. А на ночь, как всегда, сиротский кефир с сахаром.

– К вопросу о сахаре, – подхватил тему Савченко. – Мне здесь, в горах, на этом холоде что-

то жутко не хватает сладостей. Я вообще сладкоежка. Обожаю всякие варенья и выпечку. Я тут

притащил с собой из Москвы печенье и клубничный конфитюр. Так что после ужина можно

устроить «Чаепитие в Мытищах».

За ужином они болтали так весело, глядя друг на друга, как будто были знакомы сто лет, так, что Савченко даже не почувствовал вкуса тех роковых биточков с винегретом. Он весело и как

бы искоса поглядывал на её лицо, и теперь, разогретое в тепле столовой, в кайме её чёрных

красивых волос, оно снова напомнило ему девушку из таганрогской картинной галереи. У неё

была какая-то кинематографическая внешность, которую усиливал заморский свитер толстой

вязки и альпийский жилет-безрукавка.

– А с чего тебе взбрело в голову егерем представиться? – спросила она.

– Сам не знаю, – беззаботно отозвался он, – как-то само на язык легло.

– А я думала, что ты эстонец, который подделывается под немца – этакого блондинистого арийца, белокурую бестию.

Он удивлённо-вопросительно взглянул на неё:

– А я что, действительно на эстонца похож? Или на немца?

– Не похож, не похож, успокойся. Просто фраза у тебя получилась какая-то не наша. Где ты

видел русских, которые в обращении с девушками упоминают перпендикуляры?

Вадим иронично хмыкнул.

– Да, как-то само собой вылетело, – так же легко и беззаботно сказал он, – вообще фраза для «Крокодила», рубрика «Нарочно не придумаешь». Это у меня перегрев от учёбы в институте.

Я вот даже ворот твоего свитера по контуру воспринимаю как турбину и пытаюсь определить

аэродинамические качества.

– Интересно! – Она действительно с интересом посмотрела ему в глаза. – А я-то, неуклюжая, испытывала аэродинамику эмпирически, нырнув в сугроб там, на склоне.

Как его зацепило это слово – «эмпирически»! Если бы она только знала!

«Да, это не Донбасс», – в который раз за студенческие годы он повторил ставшую привычной мантру. Ляля ещё что-то говорила, а он по мимолётной ассоциации вспомнил, как в

первый же день в общежитии пять лет тому назад ни с того ни с сего услышал в мелочной перебранке

второкурсников о том, кто дежурит в тот день по комнате, слово «софизм».

«Да, Савченко, это тебе не Изотовка, где из трёхсот тысяч жителей дай бог если пятьдесят имеют это слово в активном словаре», – подумалось ему тогда. – И здесь, пожалуйста,

«эмпирически»! Надо же! Класс!

«Возьмите вы от головы до пяток, на всех московских есть особый отпечаток» – эта фраза Фамусова в миллионный раз всплыла в его памяти. – Всё-таки молодец ты, Савченко, что не

малодушничал, не разменивался ни на Донецк, ни на Харьков, а замахнулся тогда на Москву!

Ради такой вот девушки в красивом свитере и с таким лексиконом стоило покорять столицу!

Она тем временем, вылавливая вишни с косточками из компота, говорила, без стеснения разглядывая его, как разглядывают сложный чертёж на кульмане:

– Здорово, когда знаешь, о чём думают другие. Вот сидит перед тобой белокурый егерь – липовая помесь эстонца с немцем и, оказывается, думает не о женской красоте, а об аэродинамике.

– Ну, положим, о женской красоте думают все – по крайней мере, мужчины. А кто тебе сказал, что всё аэродинамическое некрасиво? Возьми, например, «Волгу–21» и сравни с «Жигулями». Что красивее? Конечно, «Волга»! И не потому, что у неё двигатель мощнее, а именно

из-за внешних форм, от которых веет скоростью. Да и бегущий олень на капоте тоже красивый,

хоть и бесполезный, символ.

– Ну, а если посмотреть на меня не как на машину, а как на девушку? – лукаво спросила она. – Что ты видишь на капоте?

– Вижу красавицу, которая любит вначале выпить компот, а потом съесть вишни из него. Ляля усмехнулась, потому что фраза показалась ей немножко двусмысленной. «Раздавить

вишенку» – так это, кажется, у американцев? Ляле эта фраза встретила совсем недавно в каком-

то современном американском романе, который она читала вслух по вечерам в первом семестре

просто так, чтобы развивать беглость речи. По-русски гораздо грубее – «сломать целку».

Она испытующе взглянула на него – нет, он, конечно, не знал, что символизирует «вишенка».

И слава

богу...

– А ты что, по-английски свободно говоришь? – поинтересовался он.

– Ну, с грамматикой всё в порядке, экскурсии по Москве могу водить. Новодевичий монастырь, Кремль. Даже знаю, как будет «успение», «преображение» и всё прочее – без них в

этих древних церквях не разберёшься.

– Завидую чистой завистью, – вполне искренне ответил он. – Вот чего мне природа не дала

– способности к языкам.

– Ну прям уж – так вот и не дала! – усмехнулась Ляля скептически. – Что тут сложного? Ленился, наверно, в школе.

– Нет, серьёзно – не то полушарие мозга у меня работает. По всем предметам были пятёрки, кроме английского. Английский в провинциальной школе – это вообще не кондидия. Так

вот, вообрази себе, я даже в такой некондиционной среде на пятёрку не вытянул! А ты ещё какие

языки знаешь?  
– Французский, но это, как говорят американцы, только в пределах, достаточных для того, чтобы попасть впросак. А вообще, для языков большого ума не надо, – с обезоруживающей честностью сказала она.  
Вадим с уважением посмотрел на неё и покачал головой.  
– Нет, ты просто не ценишь, что имеешь. Ведь каждый язык – это, ну, скажем, как математика, только их, этих математиков, много. Представляешь себе, существуют параллельные математики, которые выполняют те же функции, что и твоя собственная, и так же хорошо, а подчас и лучше. Но в этих математиках, представляешь, дважды два – не четыре! Или в арифметике не четыре действия, а почему-то шесть. Или извлечение корня противоположно не возведению в степень, а косинусу...  
Он увлёкся и даже впервые перестал глядеть на неё, а смотрел куда-то выше, поверх её головы. Ляля поглядывала на него со смесью замешательства и лёгкой женской иронии.  
– Нет, я тебе точно говорю: по сравнению с этими вашими математическими абстракциями языки – сущая чепуха, – добродетельно сказала Ляля, интуитивно чувствуя, что нужно притвориться простушкой...  
– Не знаю, не знаю... Ты вот на склоне, когда мы возвращались на турбазу, что-то говорила, на каком?  
– На немецком. Я просто пару фраз знаю – с родителями в ГДР несколько лет жила. Это, если использовать твоё мышление, язык перпендикуляров. Правильный очень. Всё в нём по правилам. Даже исключения подчиняются правилам.  
– Ладно, семинар о ценности языков и точных наук можно отложить на потом. Слушай, ты чаю не хочешь? – спросил он, перебивая ход собственной мысли. – Я от этих компотов не согреваюсь, а только ещё больше замерзаю. И вообще они у меня ассоциируются не с летом и фруктами, как положено было бы, а с холодной неуютной общагой. Сказываются годы, проведённые в МАИ.  
– А чай? Какие ассоциации? – заинтересованно спросила Ляля.  
– Чай, если индийский, ассоциируется со слоном – благо, он на пачке нарисован. Жара, джунгли и слоны. От одной мысли становится тепло и солнечно на душе. Хотя я вообще цейлонский люблю. Если серьёзно, чаепитие мне всегда Алма-Ату напоминает. У меня мать оттуда родом. Там чай пьют сто раз на день – от нечего делать. Ритуал. Но знаешь, в этом что-то есть. У людей не так много ритуалов на самом деле. Ну, например, молитва. Что это, если рассуждать исторически? Ритуал. Но не для меня.  
– Интересно, почему это не для тебя? – с любопытством спросила Ляля.  
Вадим положил руки на стол. Ему вдруг захотелось взять кусочек мела и нарисовать свой ответ, как уравнение на доске. Мела, конечно, под рукой не было – да и странно бы это выглядело. Но его тянуло дать ей развёрнутый ответ, как на экзамене, и он пожалел, что в

карманах нет ручки или карандаша.

– Слушай, я бы мог тебе написать это, как конспект. Люблю всё наносить на бумагу – так яснее.

– Милый егерь! – Ляля снова взяла шуточный тон. – Вы действительно перезанимались в своём МАИ. Мало того, что морочите девушкам голову перпендикулярами, так ещё и собираетесь

писать, не отходя от кассы, диссертацию о ритуалах.

– Но прошу вас, – воскликнула она с кинематографической патетикой в голосе – продолжайте. Слушай, – тут же перешла она на знакомый, человеческий тон, – а ты что, сам из

Алма-Аты?

– Нет, из Изотовки. Не отвлекай меня от магистральной темы семинара. Так вот, молитва как ритуал мне не подходит по моей профессии. Где ты видела авиаконструктора, который вместо

законов физики уповает на молитву? И ещё: чай можно пить в одиночку, вдвоём и целой компанией. Это гигантский плюс, если вдуматься. Например, можно пить его вдвоём с тобой. А

представь себе молитву вдвоём!

– Ну, хорошо. А кроме молитвы? Что ты, кстати, к ней пристал? Чем она тебе не угодила?

– Не знаю, отвращение какое-то. Я в детстве пару раз бывал в церкви, в Харькове, например. Просто заходил внутрь. Там, в Харькове, такой красивый собор – если прямо идти от

железнодорожного вокзала. Так вот противно почему-то. Всё – начиная от запаха и до внешнего

вида людей. Старухи эти полубезумные. И ещё очень противно называть себя рабом божьим. Что-

то есть в этом низкое. Как в туалет ходить на виду у всех.

– Интересный вы тип, егерь. У вас там все в вашей – как это? Изотовке? – такие умные? С глубоким подходом к жизни?

– Встречаются. Но долго не задерживаются. Все, кто поумнее, после десятого класса уезжают в большие города.

– А что если в церковь зайти просто полюбоваться алтарём, иконами? И не загружаться смыслом всего этого? А что до злых старух (меня они, кстати, тоже напрягают), ты, когда за

молоком приходишь, тебя очень заботит, какая продавщица тебе пакет подаёт – симпатичная или

не очень? Тебя, я думаю, больше интересует вкус и качество того самого молока, которое в

пакете... Ладно, вернёмся к ритуалам. Что ещё?

– Ещё есть курение. Замечала, что делают посредственные киноактёры, когда им играть нечего в фильме? Слабый текст, неубедительный образ? Они с умным видом затягиваются

сигаретой, пускают дым кольцами, смотрят куда-то в небытие и изображают титаническую работу

мысли.

– Да с тобой интереснее с каждой минутой. Так, глядишь, ты меня перпендикулярами и заинтригуешь. А ты сам-то куришь?

– Нет, как-то не сложилось. Я пробовал пару раз – по-моему, лишняя обуза. Так же занимательно, как марку на конверт наклеивать. Не получил никакого удовольствия.

– Слушай, я тоже что-то замёрзла. Нужно душ горячий принять, чтобы согреться. А потом и

твой чай кстати будет. Я с собой печенье овсяное захватила из дому. Давай встретимся тут через полчаса.

Он помчался к себе в номер, боясь опоздать на встречу с ней. Схватил полотенце, мыло, мочалку и побежал в общий душ, расположенный в конце длинного обшарпанного коридора.

Ручные часы положил на пол возле кабинки и, ожесточённо натирая себя мочалкой, несколько

раз стирал с циферблата густую испарину, проверяя, не опаздывает ли.

Она ждала его с пачкой печенья под мышкой, и они отправились в столовую, как будто делали это миллион раз. Вадим сам не мог понять, почему ему было так легко с ней. Не приятно, а

именно легко и радостно, как будто в его жизни случилось что-то хорошее. Так было в детстве,

когда он приходил из школы в субботу, и впереди был долгий, приятный зимний вечер, когда не

надо никуда торопиться, беспокоиться о домашней работе и знать, что завтра воскресенье, и

можно спать сколько угодно, а потом не торопясь, со вкусом завтракать.

Он, правда, немного огорчился, когда она мягко, но вполне определённо отшила его на ступеньках корпуса, не позволив проводить на второй этаж, чистенький, недавно отремонтированный, где располагался её номер люкс.

– У меня соседка по номеру – старая дева и терпеть не может мужчин, – неожиданно для самой себя соврала Ляля, невольно расхохотавшись при одной мысли о том, насколько это не шло

образу Лильки. – Увидит меня с тобой, заест нравоучениями до конца срока. Давай лучше утром

встретимся в столовой. Ты в котором часу завтракать собираешься?

Савченко зачарованно смотрел на неё, и обращённые к нему фразы доходили с опозданием и с каким-то резонансом, как при плохой телефонной связи.

– Да мне всё равно. Так что в любое время.

– Вот и хорошо! – воскликнула Ляля, что-то решив для себя. – Знаешь, давай встанем пораньше и поднимемся на канатке на вершину, чтобы посмотреть оттуда на восход солнца. Я,

соня, так и не собралась за всё это время, а ещё с первого дня, как приехала, планировала.

Подышим морозным воздухом, посмотрим на солнышко, нагуляем аппетит, а на завтрак придём к

самому закрытию столовой. Согласен?

Он с радостью мотнул головой, как жеребёнок, которому не терпится выбежать из полутёмной конюшни на зелёный солнечный луг.

– Тогда жду тебя здесь ровно в семь утра. Не проспип!

Вадим помчался к своему корпусу вприпрыжку и только на ступеньках сообразил, что тем

самым подсознательно торопил время.

«Теория относительности: пространство, преодоленное мной на бегу, приближает меня по

времени к свиданию с ней завтра утром, – мелькнуло у него в голове, – и если моя скорость

приблизится к скорости света, то утро настанет уже через минуту».

Прошедший день казался праздничным. Будто он выиграл олимпиаду по математике и его

ждала церемония вручения какой-то красивой и единственной награды, а какой – было неизвестно до самой последней минуты. Что-то это напоминало? Да, награждение хоккеистов,

выигравших на днях турнир на приз «Известий» в Москве. Вадим вспомнил их лица – церемонию

награждения транслировали по телевизору – и улыбнулся сам себе такой же широкой, счастливой

улыбкой.

Ляля специально замешкалась на последней ступеньке, чтобы посмотреть ему вслед. Он почему-то понёсся во весь дух, без оглядки, и это её насторожило. «Куда нестишь, спрашивается? –

почему-то с неудовольствием подумала она. – Ладно бы на свидание! Или полетел ещё кого-то

спасать? Альпийский егерь! Ишь ты!»

Ей вдруг пришло в голову, что можно было и не вскакивать так проворно на лыжи там, на пологой площадке выезда. «Вертикально – не всегда правильно», – вдруг пробормотала она себе

под нос, но вполне явственно, так что шедшие впереди неё по коридору студентки повернулись

на звук голоса. Она нелепо взмахнула руками, показывая всем своим видом, что её слова относятся не к ним, и вошла к себе в комнату.

Лилька, слава богу, ещё не пришла: очередная сюита из «Времени года» явно не предвещала её возвращения раньше одиннадцати. Это было кстати – хотелось наедине подумать,

что за событие подбросила ей сегодня судьба. «Вертикально, вертикально», – машинально

бормотала Ляля застрявшее в голове слово, входя в ванную, где было единственное в номере

зеркало, с отбитым углом и мелкими точками засохших брызг на поверхности от зубной пасты и

лака для волос. Она с интересом уставилась на отражение, изучая, что же именно видел перед

собой её новый знакомый. Кто знает, что у мужиков на уме?! То есть, конечно, понятно: у большинства на уме только одно. Она машинально стянула свитер через голову и так же машинально стала расстёгивать лифчик. А у этого вертикаль, видите ли! Оригинал! Или это у всех

технарей-математиков так? Как в газетной рубрике «Физики шутят»...

Ляле захотелось прямо сейчас, безотлагательно выложить всё, что с ней сегодня произошло, Лильке и услышать, что она думает по этому поводу. Но Лильки не предвиделось ещё

как минимум час. Стоя перед зеркалом и глядя на себя, Ляля задумчиво возила щёткой по зубам,

пока паста не стала капать на грудь продолговатыми мутными дорожками. «Как сперма», –

подумала она. Ей захотелось немедленно смыть эту пасту-сперму: она совсем некстати вводила в

водоворот мыслей Романа и мешала думать о нём, этом белокуром чудеке из совсем незнакомой

Изотовки.

– Надо будет узнать, где именно эта Изотовка, этот пуп земли, – негромко сказала она вслух. Аккуратно щёлкнув выключателем так, чтобы ненароком не дотронуться до оголённой

клеммы (выключатель, как и зеркало, был с отбитым углом), она вышла из нагретой ванной

комнаты и с размаху бросилась на кровать, торопливо забираясь в складки одеяла и стараясь

согреться среди остывших за день простыней. «Треугольник, – вдруг подумала она. – Отбитая

часть зеркала – это треугольник!» Она расхохоталась, прыгая попой по кровати и чуть не свалив на

пол подушку.

«Да он мне всю голову забил своей математикой! Впервые в жизни думаю в категориях геометрии. А завтра котлета за обедом – круг. И буду высчитывать её поверхность. Какое-то там, помнится, число Пи. Отношение чего-то к чему-то. Диаметра к длине окружности, что ли? А если

бы меня стукнул током этот оголённый выключатель в ванной и убил наповал – чем именно он бы

меня убил? Напряжением или силой тока? Надо будет завтра спросить. Если и дальше такие

мысли в голову будут лезть, мне самой прямой путь в Изотовку. Там, кажется, делать больше

ничего – очень подходящее место для таких возвышенных степеней абстракции». – Она ещё

повеселилась, вертясь под одеялом, и, согреваясь, стала успокаиваться.

Да, можно было бы просто притвориться, что подвернула лодыжку. И он бы её понёс на руках. «Интересно, как бы он меня нёс? – думала она сквозь наступающую дрему. – Если на руках, то наши лица были бы совсем рядом. И я смотрела бы ему прямо в глаза. Он, кажется, стеснительный. Или, может, нёс бы меня на спине... Как это перевести на английский? “На свиной

спинке” – так, что ли? Где-то это в книге встречалось недавно. А по-русски куда грубее – “на

закорках”. Он бы держал меня за бёдра, а я обнимала бы его руками за шею и прислонялась к его

спине обеими выпуклостями. Хотя под курткой не почувствуешь...»

Ляля сквозь сон слышала, как пришла и шумно возилась Лилька, но просыпаться и решать

головоломки уже не хватило сил.

Сон раскололся на две части – как две серии в длинном, на умную публику рассчитанном фильме. Вначале Ляле снилась метель, с кинематографическим гулом и завыванием ветра, как в

старом чёрно-белом фильме «Капитанская дочка», на который она ходила со всем классом в

культпоход лет в двенадцать. Ляля сквозь сон, не в силах разорвать его густой дурманящий плен, всё пыталась понять, почему эта гудящая метель то усиливается, то вдруг замолкает так внезапно, словно её кто-то выключает. В конце концов она сообразила, что это, наверное, закрывается и

открывается окно на улицу – вот почему оно хлопало несколько раз. Но такое объяснение не

принесло облегчения – её мозг упрямо стал твердить, что окна в номере законопачены на зиму, и

она увидела явственно, как это бывает лишь в снах, что они ещё и заклеены белой бумажной

лентой, чтобы в щели не дуло.

Вырваться из плена сна помогло особенно громкое в ночном мраке восклицание Лильки

– та с ходу ударилась об угол Лялиной кровати, и весьма неженское слово, сорвавшееся с её уст,

окончательно разбудило Лялю.

– Слушай, что за метель гудела? – заплетающимся языком, как пьяная, спросила Ляля, трясая головой со сна, – а сейчас что, улеглась?

– Какая метель? – Лилькин голос был свеж и бодр, как у пионервожатой на утренней линейке. – Ой, палец на ноге сбила, – воскликнула она без тени сожаления, – ну, что за...

– И она

присовокупила ещё одно словцо тоже явно не для пионерских ушей.

– Нет, ну была же метель, я сама сквозь сон слышала, – упрямылась Ляля, постепенно отходя ото сна и произнося слова более внятно, – то гудела, то вдруг пропадала... Ты

что, окно

открывала?

– Да уймись ты, соня! – воскликнула Лилька, с размаху падая на кровать, – какая ещё метель?! Окна здесь не открываются, и слава богу. И так холодина несусветная, а тем

более в

одиноким девичьей постели.

Она хихикнула, оценив юмор своей фразы, и, как маленькой, повторила Ляле нарочитым тоном пионервожатой:

– Никакой метели не было. Это я феном волосы сушила в ванной.

– Ааа... А я-то думала – метель... Слушай, а зачем голову мыть на ночь? – спросила

Ляля с

тем бессмысленным и неотступным упрямством, которое бывает только у пьяных или со сна.

– Да волосы он мне испачкал, этот братец Март из сказки «Времена года». Пришлось голову мыть.

– Чем испачкал? – по-прежнему никак не могла взять в толк Ляля.

– Тьфу, что за непонятки! – Лилька возбуждённо заворочалась на своей кровати. – Тем же,

чем мальчик может и хочет испачкать и другие волоски – в моём случае, например, те, которые я

еще ни разу не стригла. Пришлось принимать душ, а потом сушиться феном. Сообразила, соня?!

– То есть ты уже в гостях у брата Марта? – протянула Ляля вслух с какой-то

непередаваемой интонацией, просто чтобы сказать что-нибудь, одновременно рисуя перед

мысленным взором сцену, в которой можно было бы перепачкать причёску спермой.

– Ну, братец Январь оказался на поверку боооольшим любителем огненной воды, а не моих женских прелестей. Ты знаешь, я не могу делить своё юное тело, жаждущее крепких мужских рук и не менее крепкого... с поклонником вульгарной бутылки «Столичной».

Неужели ты

думаешь, что формы бутылки по степени притягательности превосходят мои собственные? – с

весёлым вызовом окликнула её Лилька со своей кровати.

– Отнюдь нет, – в тон ей, с таким же деланным шутивным пафосом отозвалась Ляля, – не говоря уже о том, что бутылка «Столичной» достаётся её обладателю за деньги. В то время как

твое юное тело жаждет любви вполне бескорыстно. А братец Февраль куда исчез?

– Вынужден был отбыть в Воронеж для пересдачи экзамена по начертательной геометрии,

который он вполне успешно провалил в декабре на сессии. Кстати, он был весьма неплох, но меня

озадачивает любой мужчина, который проваливает сессию. Что-то в этом не так, есть здесь

подвох. Как можно мужчине провалить сессию? Я искренне поражаюсь.

– Ты хочешь сказать, что женщина может завалить экзамен, а мужчина нет? – Ляля уже отошла ото сна и поддерживала светскую болтовню, глядя перед собой в непроницаемую темноту

комнаты широко открытыми глазами.

– Да вот представь себе, на том стою и не могу иначе, – с тем же шутивным пафосом парировала Лилька. – Кстати, до боли знакомая фраза. Цитата, кажется, только не помню чья?

– Лютер, по-моему, – откликнулась из темноты Ляля, всё так же вглядываясь в мрак комнаты. – Дойдешь до братца Июля, вполне себе квалифицированного гуманитария, и он в

промежутках между вспышками телесной любви насытит и твой интеллект. Только вряд ли из

Воронежа. Ищи в пределах Московской кольцевой. А всё-таки почему завалить экзамен простительно женщине, но не мужчине?

– Ответ, как и вся моя жизненная философия, нетривиален. – Лилька, судя по шорохам, зарывалась поглубже в одеяло. – Женщина сложнее реагирует на вызовы повседневности – будь

то в голове, если ей предстоит экзамен, или в той женской обители, что между ног, если ей предстоит встреча с мужским членом. Женщина непонятна даже самой себе – говорю по собственному опыту. За это нас и любят мужчины. Она может сдать экзамен, а может и нет. Или

может, например, испытать оргазм, а может просто аккумулировать, скажем так, ощущения и

впечатления. А мужчина, увы, одномерен: он должен сдать экзамен, и он должен кончить, причём

обстоятельства могут быть самые разные, а итог – одинаков. За это мы их и любим. Иначе мне не

пришлось бы сушить голову феном, – весело расхохоталась Лилька.

– Да уж, нетривиальная ты наша, – с наигранным вздохом сожаления отозвалась Ляля, –

ладно, спи, а то, мне кажется, тебе завтра понадобятся силы в очередной раз аккумуля-

ровать  
ощущения.

Лилька вполне добродушно хрюкнула в подушку, но посчитала тему исчерпанной и через минуту уже спала тихо, как мышь.

Вторая серия сна как будто по контрасту с первой была задумана лукавым кинопродюсером, вожделем не художественных достоинств, а фестивальной славы, как

дешёвый сценарный ход, потому что приснилось Ляле тёплое море. Зимняя русская метель и

ласковое, не наше море – это выглядело пошло, это явный моветон пред ликом суровых кинокритиков. Но сон не переходил в кино – он просто был, вот и всё, он утешал её, грел лучами

солнца, и она ещё порадовалась какой-то задней, припозднившейся мысли за то, что метель из

того, прежнего сна, слава богу, закончилась, и на улице стоит тёплое июньское лето, а рядом – она

знала это наверняка, – за кварталами соседних домов, ласковое море. Непонятно, какое и где –

но, в отличие от того, прежнего сна, внутренние противоречия не мучали её, требуя немедленного

логического разрешения. Она шла во сне почему-то по улице Праги, где жила несколько лет с

родителями, и разглядывала вывески пивнушек, без перевода понимая, что вывеска U dobreho

kata означает «У доброго палача»; на крыше дома напротив красовался лозунг V jednoti z lidom je syla KSC, v jednoti z KSC je syla lidu – «В единстве с народом – сила КПЧ, в единстве с КПЧ – сила

народа». И Ляля во сне с небывалой ясностью сделала сама себе мысленную заметку: при случае

подкинуть эту фразу отцу, чтобы он мог поупражняться в своём тонком армянском остроумии,

пошутить над нацией Швейков.

Но вот дома кончились, и куда-то бесследно исчез чешский город, что, однако, ничуть Лялю не удивило, как будто это было само собой разумеющееся. Она шла теперь по крупной

гальке морской бухты где-то на Южном берегу Крыма, вокруг открывались покатые склоны гор,

спускающиеся к морю. Она знала, что вода прозрачная и тёплая, а отчего, сказать нельзя, просто в

таком уголке природы не может быть холодно. И Ляля, стянув через голову летнее платье без

бретелек, прыгнула в эту летнюю тёплую воду и поплыла, нежно разгребая водную поверхность

руками и время от времени ныряя неглубоко, чтобы только увидеть этот подводный мир и услышать шум воды в ушах.

В очередной раз нырнув на полметра (её попка упрямо не хотела опускаться и тянула тело вверх, не давая погрузиться глубже), она, восторженно вертела головой и поспешно, пока не

кончится воздух в лёгких, разглядывала подводный Посейдонов мир. Но вдруг увидела прямо перед собой, метрах в пяти, тоже нырнувшего вглубь вчерашнего егеря-блондина. Он, видимо, обрадовался встрече с ней и, всё ещё не выныривая наверх, под водой помахал ей рукой так живо, как будто был на воздухе. «Всплывайте наверх, Красная Шапочка!» – воскликнул он, и Ляля почему-то не удивилась тому, что слышит его голос сквозь водяную толщу. Она согласно кивнула ему головой и с шумом, как небольшой кит, вырвалась наверх, на тёплый летний воздух. Вчерашний знакомец – интересно, что она никак не могла вспомнить его имя, – стремительно, как дельфин, скользнул своим ладным телом сквозь прозрачную, бутылочного цвета воду прямо у её ног и без брызг выскочил из воды чуть ли не по пояс совсем рядом с ней, по-прежнему улыбаясь, как и там, под водой. Он говорил ей во сне что-то радостное, а Ляля отвечала ему, хотя смысла не разобрать. Она вдруг сообразила, что на ней нет купальника – ведь тогда, до купания, в бухте не было ни души, и тогда это не имело значения. Ляля стала мучительно соображать во сне, видит ли он её сквозь зелёную, мерцающую толщу воды, а если да, то что ему видно. Вдруг голос его материализовался из бульканья, и она стала понимать, что он говорит: – Не стесняйтесь, Красная Шапочка, я знаю, что вы не одеты. Если хотите, я могу не смотреть. Видите, я отвернулся. – И он резко, по-дельфиньи, сделал поворот в воде, обдав её снопом брызг, слетевших с его белых волос. Ляля, досадуя на то, что он не дал ей самой решить, как себя вести в этой ситуации, тряхнула головой. И тут прозвонил будильник. Предрассветная темень за окном, казалось, усиливала мороз. Переход от тёплого моря к холодному, выстывшему за ночь номеру оказался слишком резким. Как там вчера Лилька высказалась? «Холодина несусветная в одинокой девичьей постели». Ляля покосилась на соседнюю кровать, где беззвучно спала Лилька. «Интересно, что ей снится? Или накопленные впечатления напрочь исключают любые сны?» Она ещё раз посмотрела в окно, где над чёрным силуэтом гор уже начинал брезжить утренний свет. Впереди маячил целый новый день и что-то хорошее в нём. Да, конечно!

Встреча с этим блондином! Интересно... с ним вчера было интересно. Он нёс какую-то наукообразную, но очень интересную ахинею, и ей нравилось его слушать. Ляля вдруг подумала, что ей до сих пор не встречался ни один мужчина, которого можно было бы назвать, как в старинных романах для домашнего чтения, интересным собеседником; лекторы в институте не в счёт. А вот просто так,

чтобы сидеть лицом к лицу и просто внимать...

Кроме отца, пожалуй. Отец умел, что называется, держать аудиторию – даже подчинённые млели от его манеры говорить. Ляля как-то ещё девчонкой застала отца на даче

стоящим среди фруктовых деревьев и обращающимся весьма учтиво, с убедительными нотками в

голосе к кому-то или к чему-то в высокой траве. Она подошла поближе и увидела, что в траве

навытяжку, как по стойке смирно, сидел соседский кот, выпятив пушистую грудку и задрал голову, и на полном серьёзе внимал убедительным интонациям её отца, который рсточал коту

комплименты по поводу его окраса и пушистости. Позднее за ужином, давясь смехом, Ляля

подначивала отца: «Послушай, ара, о чём можно гаварить так долго с котом?! Он тебя слушал, как

вежливый гость слюшает тамаду». Отец тогда победно посмотрел сначала на дочь, а потом на

жену, и сказал с торжествующими нотками в голосе: «Комплименты все любят – особенно

женщины, и это был не кот, а именно кошка. Женщина, даже кошачьего племени, заслуживает

комплиментов самим фактом своего существования». Ляле этот случайный отцовский афоризм

запал в голову, и она с удовольствием вмонтировала его в следующее школьное сочинение по

литературе, начав абзац с фразы: «Пушкин считал, что женщина заслуживает комплиментов

самим фактом своего существования». Серый, без полета мысли и вдохновения учитель литературы, возвращая проверенные сочинения, как-то особенно посмотрел на Лялю. В тетрадке

он подчеркнул смелую фразу красной волнистой линией, приписав на полях: «Из чего это следует?»

Ляля пожалала тогда плечами, с досадой захлопнула тетрадку и мысленно пожалела, что потратила столь вкусный интеллектуальный изыск на этакое убожество.

Теперь она с улыбкой вспомнила этот эпизод, стоя голышом перед зеркалом в ванной и ожесточённо надраивая зубы щёткой: неосознанно пыталась согреться энергичными движениями. Её маленькие крепкие груди ритмично двигались в такт движениям руки,

и Ляля

критически на них посматривала, одновременно сожалея о том, что не удалось досмотреть

морскую часть сна до конца.

Она и вправду согрелась от резких движений, а может, от хорошего настроения, которое постепенно заполнило её сознание. Ей захотелось горячего крепкого кофе, захотелось наружу, на

белый снег и мороз, а больше всего не терпелось увидеть вчерашнего знакомого, привидевшегося

так кстати во сне. Выскочив из ванной, она стала одеваться быстрыми бесшумными движениями.

Алый лыжный костюм невозможно шуршал в тишине комнаты, и Ляля, стараясь не

разбудить этим шуршанием Лильку (объяснять ранний подъём не хотелось), расставив руки и

ноги, как космонавт в скафандре, неслышно вышла из номера, стараясь не стукнуть болванкой

казённого ключа о дверь. Она помчалась по коридору, надевая тёплые варежки на ходу и громко

топая лыжными ботинками. Все в корпусе ещё спали, и Ляля понеслась вниз по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. Она на полной скорости вылетела на площадку первого этажа и с

разбега врезалась в него, так что он чуть не опрокинулся навзничь.

– Вы опять норовите упасть, Красная Шапочка! – воскликнул вчерашний знакомец, моментально отходя от шока.

– А Вы опять меня спасаете, Дровосек! – отпуская его рукав, за который она непроизвольно схватилась, и пытаясь скрыть смущение, ответила она. – А кстати, что

Вы здесь

делаете? Мы же договорились встретиться в столовой. И, кстати, почему мы снова на вы?

– У меня, совсем кстати, есть ответ на все эти вопросы, – в тон ей подхватил Савченко.

Ему,

как и вчера, с первой минуты легко с ней говорилось, как будто они знали друг друга вечно.

Или это горы так влияли? Атмосфера отдыха? В Москве он всегда чувствовал себя зажатым,

особенно с девицами, особенно с такими вот, от которых веяло духом столицы, – не чета изотовским. – Я просто захотел встретиться с вами пораньше и во времени, и в пространстве.

Достичь

этого можно, покрыв лишнее расстояние и сэкономив время. Почему мы снова на вы?

Потому что

ты ещё не до конца проснулась, а во сне людям свойственна неземная учтивость, и в снах все

говорят друг с другом только на вы.

Она быстро взглянула ему в глаза, чтобы удостовериться, что он действительно шутит, и кокетливо замахнулась на него варежкой:

– Да ну тебя, егерь! Ты опять забиваешь мне голову, как вчера, завиральными идеями. Я и так вечером после бесед с тобой впервые в жизни на электророзетку стала глазеть и размышлять, что опаснее: сила тока или его напряжение?

– Я готов ответить на этот вопрос, как только мы решим, что важнее – позавтракать прямо сейчас, а потом ехать на гору или наоборот?

Ляля с присущей ей женской хитростью ещё вчера определилась с этими приоритетами.

Ей

ревниво захотелось, чтобы их двоих окружало как можно меньше людей – в ней проснулся самый

ей неведомый, невысказанный инстинкт хищника – хищника, который, овладев добычей, стремится уединиться с ней в укромном, труднодоступном уголке леса, подальше от остальных

его обитателей. Мысль о том, что придётся делиться «добычей» – этим милым симпатичным

чудаком, быть с ним на виду у других, почему-то бесконечно раздражала её – как животное,

готовящееся есть корм, раздражают его докучливые сородичи.

Аккуратно, словно боясь спугнуть чуткую птицу неосторожным хрустом ветки, она сказала:

– Лучше сразу поедem на гору. Там сейчас никого нет – рано ведь. Рассвет хорошо встречать наедине с природой. А то потом набегит толпа – в очередь на подъёмник стоять придётся. Я вообще не люблю толпы народа, – соврала она без особой необходимости и, как

человек, который, соврав раз, уже не в силах остановиться, добавила: – Да и вообще я застенчивая. А позавтракать можно прийти к самому закрытию, опять-таки меньше ждать

придётся.

– Решено! – воскликнул он. – Да здравствует приоритет пищи духовной над пищей телесной! Мы идём любоваться восходом!

\*\*\*

Сколько рассветов им удалось встретить вдвоём в те каникулы? Ему всегда чудилось, что это был один и тот же рассвет, бесконечно повторяющийся в каждой мельчайшей детали – от

волшебных звуков лёгкого жужжания канатки, стального сипения тросов на опорах под тяжестью

креслиц, на которых они поднимались на склон горы, до снежной пороши на деревянных сиденьях, которую он предусмотрительно смахивал рукой, прежде чем она садилась на кресло

подъёмника.

Но нет, этого, конечно, не могло быть, рассветов оказалось много – целых десять! А Вадиму виделось, что всё слилось в один чудесный день, который начинался в лилово-чернильном рассветном сумраке, с фиолетовыми тенями на белом, сыпучем морозном снегу; а

потом этот белый снег терял свой тёмный, мрачный оттенок и наливался изнутри, как вишнёвый

компот, пламенным алым цветом, который пропитывал его всё больше под робкими лучами

красного морозного солнца, что медленно вставало в морозной мгле из-за горных кражей.

А снег на склонах, покрытый тонкой коркой наста, медленно менял свой цвет с малинового на золотисто-оранжевый. И каждое утро они торопливыми шагами влюблённых,

болтая о пустяках на ходу, первыми неслись от главного корпуса к станции подъёмника, который

уже шелестел своими стальными канатами на морозе, посылая вверх по склону пустые креслица.

Торопливыми шагами влюблённых... Нет, это более поздняя аллюзия... Нет, конечно, он не был

тогда в неё влюблен. Он и не понимал тогда, как это – быть влюблённым. Ему просто впервые за

всю его юность повстречалась женщина, с которой почему-то хотелось находиться рядом.

И он

каждое утро возвращался к ней, нетерпеливо ожидая, пока она лёгкой иноходью сбежит вниз по

ступенькам лестницы на площадку, где он терпеливо дожидался, чтобы снова увидеть её, как

будто в повторе на экране телевизора: в красном-вишнёвом, радостно шуршащем лыжном  
костюме, с варежкой, снятой с правой руки – она специально снимала варежку, чтобы  
взять его за  
руку. Если подумать, к нему никогда так не прикасались женщины. Да, два-три раза на  
танцах в  
выставшем актовом зале МАИ к нему льнули эти серые мышки в потёртых, бесформенных  
свитерах и убого скроенных болгарских джинсах «Рила» – аспирантки с кафедры радиолокации,  
что ли? Он толком и танцевать не умел тогда, а они старались всю с каким-то жалким  
отчаянием. Каждая из них прижималась к нему всем телом, а в вальсе, где он просто  
позорно  
топтался на месте, путая ноги, даже с отчаянной смелостью пыталась оседлать худыми  
бёдрами  
его ногу, и ему приходилось цепенеть от застенчивости и подавленного желания, чтобы,  
не дай  
бог, невольно не выдать своего такого убогого вождения и не упереться в её лобок.  
Чёрт бы  
подрал эти сиротские танцы в МАИ, где на каждую сотню приехавших из разных провинциальных  
берлог прыщавых технарей, кое-как причёсанных, в плохо сидящих московшвеевских  
пиджаках,  
приходилось вполтину меньше московских лимитчиц! Савченко от раздражения и злости и на  
себя, и на этих серых мышей перестал ходить на танцы уже с третьего курса. И ничего  
не потерял, разумеется. Чем это убожество лучше Изотовки?!

А здесь перед ним не серая мышь. О неет! Настоящая Красная Шапочка из сказки Шарля  
Перро, с умными глазами, в которых, слава богу, и близко не ночевала провинциальная униженность и покорность, а светился какой-то мягкий и безмятежный, будто люминесцентный,  
свет. Она была красивой и взрослой, она пришла из того мира, который кружил вокруг него и  
дразнил его все эти годы на московских улицах, но куда вход ему до сих пор оставался заказан.

Где он видел прежде такой свет? И где он видел таких женщин раньше? Да, да, естественно, –  
услужливая память подбрасывала ему образы из детства – он видел их сквозь окна купейных  
вагонов фирменного поезда «Крым» в Симферополе. Поезд роскошно урчал своими кондиционерами у главного перрона, и эти москвички со своими дочками, загоревшие и похожие  
в больших очках-светофильтрах то ли на мулаток, то ли на гигантских стрекоз, со спокойным  
любопытством смотрели на него, остающегося на платформе в ожидании, пока не подадут на  
посадку жлобский состав Симферополь–Ясиноватая, в котором ни кондиционированных вагонов,

ни даже ресторана.

Вадим Савченко каждое лето в этот единственный день в Симферополе своим тонким чутьём умного, но обделённого удачей мальчишки чувствовал эту пропасть между собой и этими

московскими мулатками с их стройными ногами и красивыми руками в кольцах и маникюре,

которых уносил в столицу урчащий кондиционерами поезд под печальные прекрасные звуки

марша «Прощание славянки», льющиеся из вокзального репродуктора. А он оставался на перроне, как будто вместе с купейными вагонами красивого поезда снова уехала от него его

мечта – быть там же, куда так беззаботно отправились эти красивые женщины со своими дочерьми и уверенные в себе мужчины. Он бродил и бродил по перрону в ожидании донбассовского поезда, собранного из изношенных, с замызганными стёклами вагонов, разглядывая вокзальную башню с часами и надпись у главного входа в зал ожидания, выполненную крупными золотыми буквами на чёрном зеркале: «Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!»

И Савченко каждый год давал себе по-мальчишески страстный зарок: после десятого класса во что бы то ни стало уехать из Изотовки туда, к этим мулаткам, похожим на стрекоз в своих

стильных очках, подальше от донбассовских матрон с их густопсовым прононсом и необъятными

формами.

Глава 3

«Продлись, продлись, очарованье...»

– Ну, расскажи мне, авиаконструктор, что такое Изотовка и где она находится.

Позади оставались тот сказочный малиновый рассвет в горах, и скрип троса подъёмника,

и

монастырское меню завтрака с неизменным творогом и блинчиками. Она предложила не морочиться с лыжами, а просто погулять вокруг базы, и он с тайным облегчением согласился:

недавние и непрочные навыки катания, кажется, атрофировались за одну ночь, и позориться

перед ней не хотелось...

– Изотовка – это что, такие донбассовские Петушки?

Савченко с недоумением посмотрел на неё:

– Петушки? Какие Петушки?

– Да нет, не обращай внимания, – отмахнулась она. – Я думала, у вас в МАИ, может, читают.

– А что, это какая-то новинка? – ревниво наострил уши Савченко.

– Да нет, говорю же тебе: не обращай внимания! – нетерпеливо отмахнулась Ляля. –

Просто я тут недавно рукопись читала. О том, как шибко умный, но вдрызг пьяный интеллигент

целый день на электричке в Петушки едет. Это такая станция под Владимиром, если ехать с

Курского вокзала. Такая, знаешь ли, недостижимая для него утопия.

Савченко сдержанно покачал головой. Слово «утопия», конечно, подкупало своей

элитарностью, как и вчерашнее «эмпирически». Но вообще до встречи с ней он всегда без

энтузиазма относился к разговорам об Изотовке и тихо бесился, когда его спрашивали в МАИ,

откуда он приехал. Раздражало всё: и необходимость натужно, в длинных придаточных предложениях объяснять, в какой это области (Донецкой), и само это название, от которого за

версту разило не городом (пусть провинциальным и непритязательным), а самой захудалой

деревней. То ли дело Торжок или Великие Луки! Или, на худой конец, какая-нибудь Гагчина...

Вроде тоже глушь, но от тех названий веяло стариной, ярмарками, рыбными обозами, купеческими загулами, колокольным звоном. Их даже упоминали в школьных учебниках истории.

От Изотовки, Кадиевки, Макеевки и прочих донбассовских дыр веяло мещанством худшего

пошиба – всеми этими коврами на стенах стандартных хрущёвок-малометражек, пьяными

воплями в открытые окна невысоких домов в разгар лета: «Ой, мороз, мороз, не морозь меня...»;

да ещё этим мерзким, базарным словом «скупилась!» «Я вчера была в магазине и скупилась...»

Это хуже похабщины. Но вопрос был задан, и она выжидающе смотрела на него внимательными

беличьими глазами с интересом и совсем не высокомерно, и он снова, как и вчера, ощутил

небывалую до этого лёгкость в общении с ней. Вадим лишь на долю секунды пожалел, что не

встретил её года три назад в Москве – это были бы совсем другие годы! Болталось с ней легко, и

всё, что он обычно мысленно обсуждал и анализировал только сам с собой, от чего закипал

перегретый его мозг в предутреннем сне – всё это, оказалось, можно как-то просто и без

стеснения обсуждать с ней. Ну, за исключением эротических снов – тех самых, которые понимали

мужчин со времён Адама. Пушкин, к слову, жаловался Кюхельбекеру, что ему-де всю ночь

накануне снились «нагие девы».

Изотовка по сравнению с ночным неистовством плоти – детский утренник.

Странно, он вдруг почувствовал себя с ней тоже москвичом – не провинциалом, а именно столичным жителем, но только более искушённым, чем она, – таким антропологом, готовым

познакомить менее опытного коллегу со странностями и причудами аборигенов далёкого архипелага. Как там было в школьном учебнике литературы об Островском? «Колумб Замоскворечья»? Вот и он почувствовал себя таким Колумбом, открывающим наивной юной деве

жестокую правду жизни.

Они шли по утоптанной дорожке вдоль корпусов турбазы, с облегчением сбросив с себя обузу – горные лыжи, на которых пытались кататься всё утро.

– Изотовка – это ничто, – категорично озвучил свой главный тезис Савченко. – И находится

она нигде. В этом, пожалуй, и заключается проблема.

– То есть ты человек ниоткуда? – спросила Ляля тоном первой ученицы.

– Да, именно так. Изотовка – это не место, это образ жизни, и совсем не мой. И получилось

так, что я там прожил всё детство, но не имел с ней ничего общего. Только и ждал, как бы оттуда

сбежать в Москву.

– Ну, это уже ближе к теме. Я имею в виду, что это не место, а образ жизни. Вот с этого места поподробнее, пожалуйста.

– Объясняю. Население – потомки раскулаченных, бежавших от голода жителей центральных районов России, а самое главное – уголовники с судимостями. У моего школьного

приятеля мать в детской комнате милиции до сих пор работает. Так вот закрытая статистика:

каждый третий взрослый в Изотовке имеет в прошлом судимость. Основное – угольные шахты;

есть ещё целый цветник интересных производств – ртутный комбинат, например. А есть коксохимзавод. И ещё азотно-туковый завод. Можешь себе представить, какая там атмосфера?

– Ну, у нас в Москве тоже есть места не подарок, – неуверенно заметила Ляля. – Тот же ЗИЛ, например. Или Нагатинская пойма.

Савченко нетерпеливо помотал головой:

– Нет, ты не понимаешь. То же, да не то. Я же тебе говорю, это не география с розой ветров

– это образ жизни.

– То есть ты говоришь не о месте, а о людях, – полувопросительно-полуутвердительно сказала Ляля.

Вадим пристально взглянул в её полные внимания глаза:

– Вы умны, Красная Шапочка. Это вам каждый Волк в лесу скажет. И, да, я говорю именно

о людях.

– Ну и чем они так уж отличаются от обитателей Черёмушек?

– Ты знаешь, все-таки отличаются. Хотя вроде много общего. Но скажу тебе честно:

Изотовка – это не Рио-де-Жанейро. Это значительно хуже.

Ляля вспомнила отца, который запоем цитировал Ильфа и Петрова, и невольно усмехнулась.

– Давай я тебе нарисую картинку, если красноречия и изобразительных способностей хватит, – воскликнул Вадим, снова входя в придуманную им роль антрополога. – Но для

начала

загадка. Угадай, что такое 1113?

Ляля, чуть забежав вперёд и повернувшись к нему лицом, старательно вышагивала задом наперёд, несколько искусственно, как цапля, поднимая пятки, чтобы не споткнуться о

бугристую, с

наледью поверхность снега.

– Это, наверное, количество минут, которые истекли с того момента, как ты меня поднял вчера на лыжном склоне! – весело воскликнула она. – Или количество шагов, которые

мы сегодня

уже прошли вместе. То есть или время, или расстояние – что-то типа того?  
Савченко улыбнулся внутренней, сосредоточенной на себе улыбкой:

– Время? Нет, не угадала. Расстояние – да, этот ответ намного теплее... Так вот: 1113

– это

количество километров от Курского вокзала в Москве до железнодорожной станции в Изотовке.

Ляля, по-прежнему проворно пятясь перед ним в такт с его шагами, радостно заплясала, поскользываясь на утоптанном снегу:

– Угадала, угадала! Откуда ты это знаешь? На этой станции в твоей Изотовке наверняка стоит километражный столбик с этой цифрой! Всё просто, как кофе! И в чём тут загадка?

Чем

примечательно это число?

– Ничем. Кроме того, что оно без остатка делится на три. Но для меня оно какое-то знаковое. Это барьер, который я много раз преодолевал за эти годы, приезжая в Москву

и потом

уезжая из неё снова в Изотовку – только для того, чтобы снова вернуться обратно.

– Дровосек, да вы, кажется, не математик, а поэт в душе! – так же радостно и беззаботно рассмеялась Ляля. – Это же самый настоящий романтический герой, который уезжает,

чтобы

снова возвратиться! Кстати, твоё «вернуться обратно» стилистически хромает. Тавтология, «масло

масляное»;

вернуться – это уже означает «обратно». Это я тебе как начинающий филолог говорю.

На неё невозможно было обижаться! Разве можно обижаться на белку, которая, торопясь схватить орешек с рук, невольно ткнула тебя острыми зубками за палец?!

И он, чтобы поддержать, не дать разрушиться этой весёлой, необходимой для него

атмосфере разговора, как игривый пёс, спародировал её – забежал вперёд и развернулся

к ней

лицом, спиной к анемичному январскому солнцу, которое теперь подсвечивало её лицо и заставляло слегка щурить глаза.

Ляля с готовностью приняла игру:

– Но романтический герой всё равно не объяснил, чем обитатели этой Изотовки отличаются от, скажем, московских лимитчиков. Или я чего-то недопонимаю?

– Главное отличие – гонор. Или отсутствие его. В этом главная разница. Ваши лимитчики (Опять, чёрт возьми, сорвалось это «ваши», словно он не прожил в Москве четыре года!)

то есть

московские лимитчики, – поправился он, – это люди в движении. Они бросили провинцию и

приехали в Москву. Они приехали за новой жизнью – пусть они даже сами себе в этом не признаются. У них куча того, что в умных газетах называют «родимыми пятнами».

Только не

капитализма, – улыбнулся Савченко, – а провинциализма. Но при всех этих родимых пятнах у них

есть одно достоинство: они знают, что они никто и звать их никак. У них нет гонора, нет самодовольства. У них, может, есть комплекс неполноценности или комплекс провинци-

ала, но у

них нет довольства собой. И это очень хорошо, потому что заставляет их искать варианты решения

задачи. Жизнь для них – сложная, почти нерешаемая задача, и они готовы продать душу дьяволу

за то, чтобы выбиться в люди. Ты школьную химию помнишь? Свободная валентность? Ляля сокрушённо покачала головой:

– Что-то припоминаю, но очень смутно. Ну и при чём здесь вся эта химическая заумь?

Ты,

егерь, умеешь всё усложнить до головной боли в мозжечке.

– По-моему, головная боль в мозжечке – это тоже – как ты выразилась? – тавтология. – Он игриво, ненавязчиво вернул ей порцию ехидства, которой она попотчевала его минуту назад. – А

валентность – это очень удачный, как мне кажется, образ, позволяющий проиллюстрировать

разницу между жителями Изотовки и нашими (Да, нашими! В нашей Москве! – внутренне

воскликнул он.) лимитчиками с ЗИЛа. Посуди сама, эти люди, как атомы, оторвались от своей,

органически присущей им среды, бросив всё, ну или, скажем, многое из того, что их с ней роднило. Бросили семечки на завалинке по вечерам, домино дотемна, сизый неочищенный

самогон по праздникам и слоников на телевизоре, накрытом сверху салфеткой с бахромой. Они

оборвали многие из своих валентных связей и помчались в столицу. И, знаешь, им плохо, неуютно, их там никто не ждёт, они не знают и не любят эту столичную жизнь. И, казалось бы,

почему не вернуться обратно (Опять эта чёртова тавтология! Но Ляля не обратила на неё в этот раз

внимания, потому что слушает его очень серьёзно), – к этим вечерам на завалинке, пьянкам по

праздникам и слоникам в ряд? Почему бы не заполнить эти свободные, незанятые валентные

пары чем-то родным, знакомым и понятным? Ан нет! (Его вдохновение, сродни лекторскому,

выдало из глубин памяти это книжное «ан».) Не идут они на это. Каким-то шестым чувством,

печёнкой чуют: не надо! Лучше заполнять эти освободившиеся валентные связи чем-то новым,

чего в провинции не было и нет, даже если им это не по нутру. Они оторвались от прежнего мира, но не пристали к новому.

Вадим в пылу вдохновения шагал назад с носка на пятку, оскальзываясь на снегу и сбиваясь с шага, но не обращал на это внимания. Он чувствовал прилив энтузиазма, который

знаком каждому, кто долго искал и наконец нашёл решение замысловатой теоремы и теперь

спешит познакомить с ним аудиторию.

Его подмывало сказать ей, что всё это совсем не заметки учёного антрополога из столицы, а его собственное ощущение, эти сиротские метания ума в проходящем поезде Сухуми–Москва,

который каждый раз безжалостно увозил его из Изотовки после каникул в Москву, когда его

холодный, рассудочный ум приказывал ему плюнуть на эту Изотовку, покрытую пеленой противной ноябрьской измороси, а по-украински ещё гаже – «мряки», висевшей в воздухе, а

сердце его сжималось при мысли о том, что завтра он снова очутится в Москве, холодной и

неприветливой, но ждавшей его и сулившей ему лучшее будущее.

Ляля, утратив свой шуточный тон и посерьёзнев, неумоимо шла вперёд, как будто скорость ходьбы подгоняла ход мысли:

– Ну что же, убедил. Образ, пожалуй, хороший, хотя и странный. Никогда не думала, сколько у меня валентностей и сколько из них свободных. Но ты же начал с другого слова

–

«гонор». Это что, тоже валентность? Только занятая, а не свободная?

– Да, почти так. Гонор – это внутреннее состояние такого человека-атома, у которого все валентности не просто заняты, а очень ладно и уютно заняты; он их рвать и освобождать для чего-

то другого и не думает. Более того, он считает, что жизнь у него состоялась, всё путём, ничего

больше не надо.

Он получил от коксохимзавода квартиру, стоит в льготной очереди на установку телефона,

и через пять лет ему его поставят, а прошлым летом по профсоюзной путёвке за тридцать процентов съездил в Трускавец. И он работает на шахте – каком-нибудь «Юнкоме», то есть «Юном

коммунаровце». И зарплата у него шахтёрская – триста рублей. А жена – маникюрша, через кассу

получает семьдесят рублей в месяц, а на самом деле чистыми рублей двести-триста – кто же

работает через кассу?! В Москве они тоже бывали – в основном за покупками ездили. И единственное, что они поняли после посещения Москвы: жизнь там сумасшедшая, все носятся,

как угорелые, и вообще ничего особого в ней, этой Москве, нет, а так, большая деревня! Ляля с любопытством и удивлением прислушивалась к новым ноткам в голосе егеря – язвительным и жестоким. Таким она его ещё не видела.

– И вот, – продолжал Вадим, – таких обладателей связанных валентностей в Изотовке, да и

вообще в Донбассе, – большинство. Театра в Изотовке нет. А если бы и был – кто туда пойдёт? Для

театра свободные, незанятые молекулярные связи надо иметь в душе – свободную валентность. А

у них всё уже и так заполнено до полного удовлетворения. Знаешь, как у Пушкина: «Всегда

довольный сам собой, своим обедом и женой...»

Вместо театра бесконечные посиделки на лавочках возле подъезда в тёплое время года. И разговоры соответствующие: «Я вчера сходила на базар, скупилась там. Купила сто яиц, девять

кило – обрати внимание, именно “кило”, а не килограммов! – бедная система СИ! Я готов от неё

за одно это сокращение отказаться! – говядины, накрутила 200 котлет на неделю».

Так может говорить только человек с полностью удовлетворённой валентностью. На

балконах гордо красуется постиранное бельё, по преимуществу нижнее, на всеобщее обозрение.

Считается хорошим тоном орать снизу, от входа в подъезд своему мужу на пятом этаже так, что

слышно на всю улицу: «Ваня, борщ выключи!» Ну и мужчине выходить на улицу в майке посидеть

у подъезда – это само собой разумеется. И понимаешь, они все так довольны собой!

Ходячая

иллюстрация – жизнь удалась!

Ляля зачарованно слушала этот всплеск эмоций и даже шаг замедлила.

– Слушай, а зачем двести котлет? – наконец спросила она, просто чтобы прервать этот поток информации, который захлёстывал её с головой, – там что, большие семьи?

– Какие, к черту, большие! – с ожесточением отозвался Савченко, – Двое детей – максимум. Я же говорю, гонор! Я прошлым летом случайно в мебельный магазин забрёл.

Туда как

раз завезли пять спальных гарнитуров из ОАР – Объединённой Арабской Республики.

Название

мебели – «Людовик Шестнадцатый», и каждый набор – три тысячи рублей. Вычурная, навязчивая,

бьющая в глаза роскошь в стиле «умереть не встать». Ты не поверишь, их смели за два часа!

Самое смешное – я потом видел этот спальный гарнитур в квартире у соседей. А для него ведь

действительно дворец нужен. Желательно такой, как у Людовика Шестнадцатого. А они его в

малогабаритную хрущёвку втиснули. В результате в спальню войти просто нельзя: она занята

целиком кроватью в стиле Людовика. Открываешь дверь в комнату и сквозь дверь ложишься на

кровать. Класс!

Это воспоминание настолько рассмешило Савченко, что он даже утратил свой язвительный тон, и Ляля подумала, что ему не идёт злиться – становится некрасивым лицом.

– Ну что ты прицепился к этому гарнитуру, Дровосек?! – примирительно сказала она, – знаешь, красиво жить не запретишь. Это их представление о том, что такое жить красиво. Савченко с сожалением, как на маленькую, посмотрел на неё:

– Как же! Красиво! – задиристо воскликнул он. – Выходят они из этой квартиры, с такой

вот

красотой, и идут, скажем, напрямиком в ДПИ. – Столкнувшись с непонимающим взглядом

Ляли, он

расшифровал: – Донецкий политехнический институт. У нас там филиал. Я уж не говорю о том, что

иняз тоже имеется. Так вот, при входе в оба эти института, представь себе, торжественно красуются сварные рамы с поперечинами для очистки обуви от налипшей на подошвы грязи. И,

поскоблив об это устройство подошвы, местные последователи Людовика потом ещё обмывают

верх обуви от запачкавшей её грязи в тут же стоящей специальной сварной ванне с вечно бурой

водой. Как тебе такая картинка?! Я уже не говорю о том, что при дворе Людовика не пили «Червоне мицне».

Ляля опять вопросительно поглядела на Савченко.

– «Красное крепкое» в переводе с украинского, – объяснил он, – местное пойло, которое почитатели мебели Людовика считают полноценным вином. Впрочем, другого в Изотовке днём с

огнём не сыщешь. Разве что грузинский портвейн по рубль семнадцать. Ты знаешь, я до приезда в

Москву вообще не понимал, что такое настоящее вино. Так что до красивой жизни там далеко, и

арабскими гарнитурами ситуацию не исправишь. А потом – ладно бы они сами себе это «красиво»

делали! Но ведь их критическая масса среди населения зашкаливает. Они и формируют мировоззрение, как в книжке Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо?». Стеллажи с

книжными корешками – чтобы модно было. Но книги, само собой, ни разу не прочитаны.

«Хельга» с чехословацким хрусталём. Я в детстве у репетитора брал уроки музыки. Так вот,

насчитал у неё в одной комнате двадцать три хрустальных вазы! А самое восхитительное –

«Жигули» в экспортном исполнении и сзади под стеклом на всеобщее обозрение – настоящий

профессиональный футбольный мяч! Стоит, по-моему, целых двадцать пять рублей. Такими

команды мастеров в высшей лиге играют. Новенький, накачанный воздухом. И заметь, им ни разу

не играли в футбол! И ни разу играть не будут. Для того и лежит под стеклом. Для красоты. Все

валентности заполнены до отказа. Приходит суббота – и народ в массе своей напивается дешёвым самодельным самогоном, заедая его холодцом, а те, кто побогаче, колбасой сервелат.

Сыр голландский тоже режут на отдельную тарелочку тонкими ломтиками – угощение... Ну и

хоровое пение пьяными голосами – что-нибудь хватающее за душу. «Каким ты был, таким ты и

остался, орёл степной, казак лихой...»

Вадиму захотелось карикатурно, во весь голос передразнить своих невидимых оппонентов, и он с трудом подавил в себе это желание:

– А в понедельник, едва опохмелившись, с головой, которая трещит с перепоею, едут на «икарусах-гармошках» на Коксохим или на «Карла». Так называют шахту имени Карла

Маркса.

Видела бы ты эти физиономии!

– Да, егерь, чувствуется, там тебе не выжить. А как же твои родители? Они что, тоже как ты

или даже умнее?

Хороший вопрос! Где начинался и где заканчивался ответ на него, он и сам, пожалуй, не знал. Обычно он отсекал всякие попытки со стороны определить, что представляют собой его

родители. Ну разве что за исключением анкеты в первом отделе. Но там и не требовалось

подробностей. В графе «социальное происхождение» хватало скромного «из служащих». А здесь – что же можно сказать ей? Так, чтобы она не удивилась, а, главное, чтобы поняла. То, что она удивится, – само собой разумеется. Удивится – это мягко сказано... Конечно, можно не говорить ничего. Отшутиться, откупиться какой-то второстепенной, малозначимой подробностью. Но теперь было поздно: он уже нарисовал живописную до отвращения картинку. Да и чёрт с ней, с Изотовкой, не жалко... Но не хватало ещё, чтобы она подумала, что его родители из тех, что забивают козла в ближайшей беседке среди хрущёвских пятиэтажек... Да, двести коплет – это нечто. Он сразил её наповал этой цифрой. И он, подобно петушку, который, ступая по двору, зорко всматривается в разбросанные по земле крошки – какие склонуть, а какими пренебречь за их ничтожность, – стал скупыми деталями давать конспект развёрнутого ответа: – Мой отец – преподаватель. Но это на самом деле мало о чём говорит. Чтобы ты лучше поняла – в украинском языке, который мне пришлось учить в школе, есть такое выразительное слово – «выкладач». То есть по-украински «преподаватель» – это «выкладач». Вот это как раз про моего отца. Он не из числа этих современных учителей с поурочными планами, методразработками и прочей бумажной канителью. Он это не признаёт и терпеть не может. Он, видите ли, «выкладывает» материал – с блеском, остроумно, в прекрасной лекторской манере. А там дальше усвоили что-то недоросли или нет, его не интересует. Знаешь, такой старомодный, в стиле чеховских интеллигентов, интеллектуал-словесник. Я пару раз был на его занятиях в Енакиевском горном техникуме. Это театр одного актёра! Ему не надо готовиться к занятиям – у него всё в голове. И он единственный в Изотовке, если не во всём Донбассе, что называется, не поперхнувшись, произнесёт название «Коломбе ле дёз Эглиз». Ляля поневоле дернулась, будто её несильно стукнуло током, и Савченко самодовольно улыбнулся в ответ: – Видишь, я даже благодаря отцу знаю, что это название резиденции президента Франции, – с напускным бахвальством сказал он. Ляля с всё большим интересом внимала рассказу. И да! На её лице, конечно, было написано восхищённое удивление! Он так и знал! – Вот ты какие слова в самом раннем детстве произносила? Савченко с улыбкой, словно представив её ребёнком, вышагивал рядом с ней по подтаявшему полуденному снегу. Ляля пожалала плечами и тоже улыбнулась:

– Ну, не знаю. Ти-ти-ля, кажется. Что означает «вентилятор».

– А я, – с энтузиазмом воскликнул Савченко, – в два года тащил по полу газету отцу и во весь голос просил: «Папа, прочитай про Чомбу!»

Ляля вопросительно подняла брови.

– Моиз Чомбе, кажется. Был такой африканский злодей где-то в бельгийском Конго, – пояснил Савченко, – вроде бы причастен к убийству Патриса Лумумбы. Представляешь, мой отец

ежедневно по часу читал вслух газеты. Этаким лекторским голосом, с выражением! В нашей семье

такой вот Чомбе упоминался чаще, чем родственники. Между прочим, в 1956 году, когда в

коллективах зачитывали доклад Хрущёва на Двадцатом съезде о культе личности, в Лисичанском

горном техникуме чтение этого доклада поручили именно моему отцу. За неимением Левитана.

При том что отец даже в партии не состоял! Потому что, где бы он ни работал, все ощущали, что

он настоящий интеллеktуал.

Вспомнив вчерашний свой тезис о языках как о параллельных математиках, Савченко с азартом добавил:

– Отец рассказывал, что в 1940 году, до войны, на первом курсе Харьковского института имени Сковороды – был такой украинский философ – он единственный, не задумываясь,

ответил

на вопрос с подковыркой от лектора: как перевести на украинский название пьесы Шиллера

«Коварство и любовь».

Ляля зачарованно слушала этот словесный очерк.

– Представь себе, «Підступність та кохання»! Отец ещё тот оригинал! В снег, в мороз, в пургу, ещё не рассвело, а он мчится к газетному киоску покупать какую-нибудь «Красную звезду»

или «За рубежом».

А в доме у нас часами звучит пианино – он играет, просто для души. Причём не «Катюшу»

или «Шумел камыш», а ариозо из оперетт Имре Кальмана! – И Савченко, больше не сдерживаясь,

шутливо, но в тональности пропел целиком музыкальную фразу:

Блистательный успех и я когда-то знал...

И чардаш иногда недурно танцевал...

Весёлый праздник новогодней ночи

Мне казался дня короче, горя я не знал...

Ляля, глядевшая во все глаза на Савченко, открывшегося ей с совершенно неожиданной стороны, заплотировала вязаными шерстяными варежками:

– Bravo! Но тогда у меня есть вопрос: что твои родители вообще делают в Изотовке? То есть я хочу сказать: почему они не уехали в крупный город, где, как ты выражаешься, больше

людей с открытыми валентностями?

Вадим сразу скис: на этот вопрос не было рационального ответа. Он серьёзно посмотрел Ляле в глаза и с неохотой произнёс:

– Потому что оригинальность моих родителей заходит так далеко, что там кончается

всякая практичность. Моему отцу, прямо по Маяковскому, «и рубля не накопили строчки». Это

при всём при том, что он, со своей игрой на пианино, душа любой компании. Но деньги он зарабатывать не умеет. Ни копейки лишней. И никогда этому не научится. Так что моя мать одна

везёт весь воз семейных финансов... Кстати, тоже очень оригинальна. Одна на всю Изотовку в

сорок лет играет в бадминтон со своим сыном. То есть со мной. Можешь себе представить, что

говорят о ней соседки на лавочках. Учитывая, что у неё сорок шестой размер, а у них – шестьдесят

второй. Выводы излишни, поскольку очевидны.

Ляля кожей почувствовала, что он скис, и, торопясь вернуть то лёгкое, беззаботное настроение, с которым они отправились на прогулку, убеждённо, будто что-то давно выношенное

и передуманное, сказала:

– А ты никогда туда не вернёшься. И правильно поступишь. Знаешь, я читаю американскую

прессу по своей специальности. И там, что интересно, при проведении опросов общественного

мнения никогда не спрашивают, в хорошем ли состоянии находится экономика страны или,

допустим, какова финансовая ситуация.

Он с интересом прислушивался к ней, и Ляля, с удовольствием овладев его вниманием, сказала, будто гвоздь вколотила:

– В этом нет смысла. Вопрос должен стоять так: туда ли мы идём? на правильном ли мы пути? Если подумать, то это ведь самое главное. Ты можешь быть на дне кризиса, но если ты

идёшь в нужном, правильном направлении, значит, ты приближаешься к цели. И наоборот, ты

можешь сейчас быть довольным всеми валентностями, как ты выразился. Но рано или поздно

жизнь тебе отомстит за то, что ты шёл не туда. Или вообще никуда. Так что не унывайте, егерь. Вы

на правильном пути.

\*\*\*

А она? Она-то пошла по верному пути, сблизившись с ним? Если доверять женской интуиции, то да, несомненно! С того утра, когда она действительно встретила рассвет с этим

смешным егерем, она всё не могла избавиться от мыслей о нём. Лялю снова потянуло к нему уже

после того, самого первого восхода на склоне горы, и она в тот день с нетерпением ждала послеобеденного моциона на лыжах – слава богу, он легкомысленно согласился кататься с ней

вместе. Эта тяга, которая гнала её из турбазовского номера с утра пораньше в вестибюль, где он

уже ждал её, как верный пёс, до сих пор была ей незнакома; Ляля с самого детства, с четвёртого

класса, любила одиночество – или, может, самостоятельность? Оставалась одна в их большой квартире на Кутузовском, готовила уроки в тишине комнат, где оглушительно тикали привезённые из ГДР часы-ходики, в которых притаились немецкие кузнецы. Они ежечасно выскакивали из своих ладных немецких укрытий и, добросовестно отмолив по маленькой наковальне положенное количество ударов, снова расходились по своим домикам. Наверное, и этих игрушечных кузнецов тоже снедало нетерпение, они маялись, каждый в своём домике – им было ждать не дожидаться, пока не наступит запланированное время их следующей встречи. Так и она теперь всё время ловила себя на мысли, что торопится убежать к нему, используя любой предлог и досадливо отмахиваясь от настойчивых приглашений Лильки познакомиться её с одним из двенадцати братцев-месяцев.

Через пару дней после заезда на турбазу, возвращаясь к себе в номер и невольно досадуя на то, что до следующей встречи с ним целая ночь – минимум восемь длинных часов, она даже на секунду потерялась, когда Лилька без умысла вскользь спросила, где она пропадала целый день.

Действительно, где? С ним! Они практически не расставались, везде были вместе: с утреннего паломничества к подъёмнику и ритуала встречи рассвета и до вечернего кефира в столовой. «Чёрт бы побрал этот кефир, напиток расставаний!» – подумала она, прощаясь с ним тем вечером и с досадой представляя себе, как он отправится в огромную шестикоечную (он сам так определил) берлогу, наполненную (это она уже сама додумала) молодецким храпом, двусмысленными шутками и бьющим наповал запахом мужских носков. Повинуясь ревнивому женскому инстинкту, она как можно дольше скрывала существование егеря от Лильки. Но утром третьего дня, несмотря на всю конспирацию, та застала их вдвоём, да ещё смеющихся, этаких закадычных знакомых, на крыльце корпуса, когда Лилька – чёрт побери её разгильдяйство! – вернулась за забытыми варежками. Лилька с видом провинциальной актрисы, индифферентно делающей вид, что не замечает присутствия слона в гостиной, нарочито громко топая лыжными ботинками, прошествовала по террасе, пока Ляля, внутренне чертыхаясь, как бы невзначай разворачивала своего нового знакомого спиной к входу в вестибюль. Никакие ухищрения, конечно, не помогли, глазастая Лилька увидела всё, что хотела увидеть, и тем же вечером перед сном устроила ей

форменный допрос – дружеский, но с пристрастием: «Ты где это такого красавчика откопала? Что-

то я его раньше не видела. И ходишь молчишь, тихоня».

Ляля слабо отбивалась от вопросов, внутренне чувствуя себя победительницей: – Это не я

его откопала, а он меня – из снега, на склоне горы. Я там каталась в гордом девичьем одиночестве

и навернулась на вираже – чуть ногу не сломала. Если бы он вовремя не оказался рядом, наверное, до вечера бы пролежала, или ползла бы, как Маресьев...

Лилька презрительно скривилась:

– Фу, что за ассоциации! Что за кондовые грёзы у тебя – Маресьев какой-то... Лёня

Голиков, пионеры-герои... Нет чтобы представить себе журнал «Плейбой»! Юная воспитанница

кузницы советской дипломатии – участница сексуальной оргии с белокурой бестией из России в

снегах Кавказа! Вот это романтика – я понимаю!

И Лилька захохотала, очевидно, живо представив себе этот образ.

– С ума сошла? Это больше в твоём стиле. Мне приглядеться надо, все положенные ритуалы соблюсти: кофе, мороженое, кино. Понять для себя: нравится или не нравится, –

с

улыбкой возражала Ляля, которой втайне самой импонировал образ, нарисованный Лилькой.

– Ну вот! Опять ты за своё! Что такое? Учю тебя, учю уму-разуму – а твои мечты дальше кино

и мороженого не идут. Получается не «Плейбой», а просто какой-то журнал «Работница». Не тяни

время, лучше тяни его в свою кровать. – Лилька первая расхохоталась, оценив игру слов. –

Мужчин в деле проверять, чтоб зря время не терять, – опять не удержалась и схохмила она, на

этот раз в частушечную рифму.

Легко сказать! Вадим, с его русопятской, есенинской красотой, увы, ничуть не наследовал

поэту, франту, хулигану, бабнику и скандалисту. Хулиганство и скандалы – бог с ними... Но егерь, похоже, самим фактом своего существования опровергал главный тезис разбитой Лильки о том,

что все мужчины – бабники, или действующие, или в отставке. Правда, он смотрел на Лялю

горящими глазами, но вовсе не как бабник, не как мужчина, наконец, а как зачарованный неофит

в катакомбной церкви, который, кажется, даже в мыслях не допускал, что он может делить ложе с

богиней. И чем больше они ходили рядом, целомудренно держась за руки, тем больше в душе

Ляли кипела гремучая смесь негодования и нетерпения. Она теперь, после прошлогодних эскапад

с приторно-сладким Романом, считала себя очень опытной женщиной, и случай послал ей такую

прекрасную возможность доказать это себе (и ему!) на практике! И – чёрт побери! – именно то,  
что её привлекало в нём больше всего, оригинальное, на грани парадокса мышление, ненатуральный юмор без посягательств на дурное смехачество (не то что у его сверстников!), математические приколы и выверты мысли, которые так увлекали её, – всё это, видимо, казалось ему вполне достаточным, и именно это не давало ему сделать тот самый следующий шаг, которого всегда ждёт и слегка страшится женщина.  
Нет, он ничуть не походил на дураковатого Шурика из фильмов Гайдая. Внутри у этого человека был не тепловой котёл внутреннего сгорания, а ядерный реактор! Фу ты, она уже стала мыслить его техническими образами!  
Нет, действительно, это ядерный реактор, к которому не подступиться. И почему у него столько эшелонов защиты от её испытанных женских приманок? Он боялся даже дотронуться до неё. Лялька иногда брала его за руку, вызывая сильную дрожь. Ну а дальше что? Она тщательно и аккуратно, как охотник, готовила ему капкан: часто, как будто случайно, дотрагивалась то до его спины, то до плеча и чуть задерживала руку, продлевала прикосновение. Поправляла его и так идеальную причёску – шикарные волосы, светло-русые, набегающие красивой волной. Их не нужно было причёсывать, они ложились сами, как будто он только что вышел от знаменитого парикмахера. И этот голливудский красавчик из Изотовки совершенно не осознавал своей внешней привлекательности! А с ней, с Лялей, он вёл себя так, будто неожиданно выиграл в лотерею счастливый билет и просто не знал, какой приз полагается победителю. И не стремился получить этот приз!  
А немецкие кузнецы далеко там, в квартире на Кутузовском, неумолимо отбивали уходящие часы и дни этих каникул. И отчаявшись, Ляля решила. Предстояло сыграть неведомую, не игранную доселе партию – антипода томной недотроги, фатально клонящейся перед напором неумолимой мужской силы ловеласа; нет, роль была из тех, что не найдёшь мало сказать в журнале «Работница», но и в «Плейбое», – роль соблазнительницы, достойной наследницы Евы. Только пришлось ещё совместить её с ролью змея-искусителя. Ляля продумала операцию совращения до мелочей. Нужно было выбрать момент, когда Ляльки не было в комнате. А такое случалось только утром, когда Лялька в шумной компании молодых людей, которые шутивно боролись за честь нести её лыжи, весело убегала кататься на склонах.

Совместить это с вечерними посиделками – распиванием спиртных напитков и песнями под гитару – было нереально: всё происходило, как правило, в холле их корпуса. Без конца кто-то кого-то искал, хлопала дверь, гремела музыка, прерываемая лишь взрывами хохота. Создать в этих условиях романтическую обстановку невозможно. На трезвую голову раскрепостить егеря представлялось, конечно, ещё сложнее. Но изобретательность хитрой наследницы Евы и змея из Эдемского сада не знала границ. И Ляля назначила для себя кодовый день «Ч». Она, конечно, схитрила, что больна, и он потом, много позже, когда всё произошло, высчитал этот подвох. А с утра он ничего не понял, кроме того, что на улице метель. До него вдруг дошло, что это их предпоследний день вдвоём: завтра на базе планировался общий разъезд по домам. Черета роскошных альпийских рассветов последней недели, с красным диском солнца, похожим на спелую хурму, которой торговали здесь по выходным кабардинки, солнца, с регулярностью часового, выходящего из морозной туманной мглы, – всё это подошло к концу в тот, такой памятный ему, день. Или она (так он думал много раз потом) специально наколдовала непогоду. Метель потихоньку подкралась ещё ночью, перед рассветом, начавшись как мягкий московский снегопад, а ближе к утру стала лепить в окна большими мокрыми кляксами всё гуще и гуще. Он отправился с приятной привычностью к её корпусу через эту пургу, взрывая ногами глубокий пушистый снег и оставляя за собой две глубокие борозды, как когда-то в детстве в Изотовке на проспекте Победы. Снег падал чуть наискось густыми лохматыми хлопьями; снег был его попутчиком, ветер заметал его из-за спины и бросал охапками вперёд, и Вадим торопился ему вслед. «Завирюха», – почему-то вспомнилось ему украинское слово из школьных сочинений или прогнозов погоды на киевском ТВ. Это не метель, а именно «завирюха». А снежные вихри, танцевавшие вокруг него, превращали окружающее в таинственную, темнее обычного декорацию сказки. И она, как хитрая сказочная лисица, специально тогда опоздала. А он и не догадался, этакий простодушный медведь! Она опоздала – чего раньше не случалось, – и он даже стал беспокоиться. Ему на секунду показалось, что и последние две недели, и все их встречи и разговоры, и то, как она держала его за руку по дороге в столовую, – всё это наваждение, оставшееся там, на яркой солнечной стороне, по другую сторону метели. Он панически подумал, что, наверное, она срочно уехала в Москву, не попрощавшись, и

больше ничего не будет: ни встреч, ни рассветов, а маячит впереди прежняя рутина, преддипломная горячка в неуютной, пропахшей потом общаговской комнате и казённые, бездушные коридоры МАИ, начисто лишённые женского тепла и присутствия. Эта картинка,

вихрем мелькнувшая в его мозгу, показалась настолько противной, что Савченко чуть не сплюнул

от переполнявшей его досады на мокрый от талого снега линолеум пола в вестибюле. Он едва

удержался от этого искушения. И правильно сделал, потому что именно в этот момент она

появилась на лестнице.

Он понял, что-то не так, потому что вместо вишнёво-красного костюма на ней была цивильная городская куртка и джинсы. Она выглядела бледнее обычного, и под глазами у неё

темнели портретные тени, как на картинах старых фламандских мастеров.

Савченко было невдомёк, что Ляля потратила добрых тридцать минут в ванной перед зеркалом, загрунтовывая щёки белым тонирующим кремом, а потом аккуратно втирая в кожу под

глазными впадинами тени для век, позаимствованные без спросу по такому случаю у Лильки.

– Ты заболела, Красная Шапочка? – Он бросился с этим вопросом к ней, стараясь придать голосу избыточную озабоченность, хотя душа у него ликовала. Слава богу, она не уехала и не

оставила его одного! Ляля протянула ему не одну, как обычно, а обе руки без варежек и сказала:

– Знаешь, простудилась, наверное. Всю ночь спать не могла, и знобит меня, кажется. Давай

сегодня никуда не пойдём, ладно? Да и снег валит всюю. Может, просто позавтракаем, никуда не

торопясь? Как-то посидеть хочется, никуда не бегая, и согреться.

Он держал её руки, как актёр провинциального театра, не решаясь отпустить их. Ляля высвободила одну руку и очень убедительно передёрнула плечами, как от озноба. Она крепко

переплела его пальцы со своими и теснее прижалась к нему плечом, когда они одновременно

протискивались через неподатливую дверь наружу, в снежную круговерть.

Теперь ветер и снег били им прямо в лицо, и Ляля старалась укрыться от снега, слепившего

глаза, плетясь сзади и поминутно клюя носом в рукав его куртки. А Вадим благодарно держал её

за руку всю дорогу до столовой, совершенно не подозревая, что она намеренно оставила варежки

в комнате ради вот этого, тщательно запланированного, пусть и мимолетного, момента на полпути, когда она вполне невинно обронила: «Давай руки поменяем, а то у меня правая замёрзла. Варежки второпях в комнате забыла».

Когда они меняли руки, по-медвежьи вытапывая круг в снегу, Ляля с чрезмерным усердием дула в ладошки, а потом, схватив небрежным движением его руки и спрятавшись в них,

как в перчатки, приложила их к своим щекам. Он стоял, как дрессированный медведь с лапами,  
поднятыми к её щекам с остатками маскировочного белого крема, и зачарованно смотрел ей  
прямо в глаза. Ляля, помедлив секунду, сказала легко: «Вот, так гораздо теплее», – и отняла  
медвежьи лапы от своих щёк. «Да что ж это такое!?! – мысленно взмолилась она с негодованием. –  
Ну что, что ты так на меня смотришь?! Любой другой уже сто раз целоваться бы полез!»  
Но он не догадался, топтыгин этакий! Только неуклюже грел её руки в своих, даже когда они бок о бок снова двинулись вперёд, как два полярника в фильме про Нобиле и Амундсена,  
проваливаясь в снег и невольно толкая друг друга. В душе Ляли боролись два чувства: странное, извращённое удовольствие от того, что он наконец хотя бы прикоснулся к ней двумя руками и  
держал её ладошки в своих лапах, как замёрзшую птичку, но вместе с тем она испытывала какую-  
то тихую ярость, кипевшую на самом доньшке её души, оттого что этот марсианин из чёртовой  
Изотовки так и не догадался её поцеловать. «Как там они, в вашей Изотовке, размножаются?  
Почкованием, что ли?» – с ожесточением думала она.  
В столовой, вопреки ожиданиям, оказалось немного народу: большинство или ещё спали, или уже ушли гулять по склонам, прощаясь с горами под аккомпанемент красивой, как в кино,  
метели.  
Ляля выбрала столик в самом дальнем углу и, сославшись на усталость, осталась сидеть лицом к окнам, за которыми висела белая кисея. Савченко, отряхнувшись от снега, как дворовый  
барбос, первым делом сбегал к кипятильнику и принёс ей горячего чая в стакане. Она благодарно  
обхватила обжигающе-горячий стакан двумя руками и почувствовала томительную боль в  
замёрзших пальцах от резкого скачка температуры.  
Вадим тем временем споро таскал с раздачи двойные порции сосисок с картофельным пюре, бледные сваренные вкрутую яйца, щербатые блюдца с сероватым рыхлым творогом,  
присыпанным ещё более серым песком-рафинадом поверх сметаны, и белый хлеб с фигурно  
вырезанными брелоками сливочного масла. Всё это он победно водрузил перед Лялей, довольный своим усердием и своей добычей.  
– Угощение на столе! – весело воскликнул он. – Здесь есть всё, что нужно. А именно белки,  
жиры и углеводы, в том числе сахар. Всё это адаптированная энергия солнца, преобразованная  
методом фотосинтеза в корм, то бишь, тьфу, в продукты питания для нас, млекопитающих из  
отряда приматов.

В другое время Ляля вступила бы с ним в весёлую, ни к чему не обязывающую дискуссию о калорийности или энергетике солнца в твороге. Но сегодня её мысли витали далеко, как будто ей и впрямь нездоровилось. Она в мыслях находилась уже там, под простынями своей постели, рядом с ним, и творог ничуть не мог её занять.

– Ешьте, великий авиаконструктор, – сказала она устало-повелительным голосом герцогини Девонширской, – телесная хворь, настигшая Красную Шапочку, напрочь лишила её аппетита. Я могу пиршествовать только глазами, – добавила она, не уточнив, что за картинка вертелась перед её мысленным взором. – Нет, серьёзно. Ешь и не оглядывайся, – добавила она с такими же убедительными нотками в голосе, заметив его колебание и озабоченный взгляд, который он бросил на неё, – я лучше чаем погреюсь. Так быстрее выздоравливают. Организм сам знает, что ему требуется, – добавила она, бросив украдкой взгляд на Савченко и внутренне покраснев от двусмысленности своей фразы.

Тот беззаботно принялся за сосиску, за неимением ножа умело кромсая её при помощи сразу двух покривившихся алюминиевых вилок.

Ляля с воодушевлением наблюдала эту комичную сцену и не удержалась от комментария: – Конструктор, чего это вы усложняете техническое решение задачи? Где это видано, чтобы человек ел двумя вилками сразу? Что за избыточный запас прочности и перерасход материалов в искомой конструкции?

Савченко иронически хмыкнул, поднося, наконец, упрямую сосиску левой вилкой ко рту: – А ты молодец, Красная Шапочка! По-моему, ты начинаешь побеждать меня в словесных шахматных партиях, причём моим же оружием – используя те же гамбиты, что и я!

Лялька удовлетворённо рассмеялась: – Это королева. Она ходит как угодно.

– Кому, простите, угодно? – весело подхватил Савченко.

– Тому, кто играет, – парировала Лялька, и они громко, привлекая внимание всего зала, захохотали от того, что наконец-то нашли нечто общее, – «Трёх мушкетёров» оба знали почти наизусть.

– А если серьёзно, – отсмеявшись, продолжал Савченко, – одной вилок можно есть в моей родной Изотовке. Там, кажется, можно и вообще руками, вытирая их после о рукава. Но я не собираюсь туда возвращаться. Вторая вилка в Москве и сейчас – это как второе крыло в самолёте.

Я моделирую неоптимальную ситуацию. Оптимально требуется нож, конечно, но, раз его нет, вторая вилка выполняет ту же функцию.

В этот момент она окончательно всё для себя решила. Он был ей нужен – и в постели, и просто так, чтобы кружить ей голову милой заумью, чтобы очаровывать её настырностью,

с

которой он, как юный птенец, стряхивал с себя провинциальную скорлупу изотовского застольного этикета и расправлял крылья. Но вначале – в постели... Она терпеливо выждала, пока

он доел вторую порцию творога, и сказала ровным, нейтральным голосом:

– Знаешь, я всё-таки пойду прилягу. Что-то знобит меня. Если хочешь, можешь проводить

меня до номера. Моя старая дева на весь день в гостях.

– Слушай, может, тебе чаю ещё принести? – озабоченно спросил он. – Горячий чай при простуде – первое дело.

Но Ляля поспешно отказалась от чая – ещё не хватало, чтобы в решительный момент ей пришлось отлучаться в туалет!

Обратно они шли в такт с ветром и метелью, которая продолжала бушевать и почти полностью замела их утренний след. Ляля, отдав ему на согрев правую руку, обхватила

Вадима и

засунула левую руку в карман его куртки. Они шли, тесно прижавшись друг к другу, и почему-то

очарованно молчали.

«Он, наверное, девственник. Ну, не может же парень просто так, по-пионерски, ходить возле женщины две недели, даже если он не от мира сего и с техническими мозгами.

Должен же

он, хоть теоретически, знать устройство женщины». Женщиной она мысленно именовала себя.

«Кстати, насчёт устройства: сколько у меня дней осталось? Если он теоретик, а не практик, это

важно. А то как бы не залететь случайно».

Вадим просто шёл вперёд, зарываясь глубоко в снег и заботливо ощущая в своих ладонях теплоту её маленьких рук. Они с громким топотом стряхнули снег с ботинок в вестибюле,

и Ляля

сказала:

– Пойдём, посмотришь, где я живу. А то одной, да ещё больной, в комнате сидеть скучно. Соседки не будет часа три. Она со своей компанией в гостиницу «Интурист» на экскур-

сию

отправилась.

В комнате было светло от навалившего за последние часы снега за окном и тихо, как в храме. Пока Савченко возился, снимая намокшие лыжные ботинки, чтобы поставить их к батарее,

Ляля метнулась в комнату и одним махом руки смела со стула Лилькины трусики и бюстгальтер,

швырнув их на её же кровать под одеяло. Вадим размеренно и с любопытством кота, очутившегося в чужой кухне, прошёл вглубь комнаты, инстинктивно вертя головой и

рассматривая

зачем-то стены, хотя на них ничего не красовалось.

– Ты что ищешь? Картины? – Ляля сбросила с себя куртку и ботинки, швырнув и то и другое

в направлении Лилькиной кровати. – Картин нет. Но ценно то, что мы здесь только вдвоём со

старой девой – мой родитель специально дороже заплатил, чтобы не вчетвером в одной комнате.

Сесть, правда, негде, места для кресла мало. Так что присаживайся на кровать. У меня ещё тёплый

плед есть, а то замёрзнешь.

Всю эту белиберду Ляля произносила на автомате, обречённо направляясь к своей постели.

– Ух ты! У тебя и спальник есть! – воскликнул он, когда она, не раздеваясь, юркнула туда чуть ли не с головой.

– Нет, это не мой, здесь вчера пришлось выпросить, когда поняла, что заболеваю. В нём теплее спать.

Она и вправду выпросила вчера двойной спальник на складе, когда со змеиной хитростью планировала всю эту операцию по его соблазнению.

«Это же не Лилькины двенадцать братцев-месяцев, которые сами под простыни лезут, – приняла она ещё вчера стратегическое решение. – Надо соблюсти абсолютную невинность:

спальник – это не про секс, спальник – это про альпинизм. А какую вершину этот конструктор

покорит, решим сами».

Оставался последний шаг, и Ляля сделала его без колебаний.

– Слушай, действительно, не мёрзни, – окликнула она Вадима из-под одеяла, – возьми там

плед в ванной. Не обращай внимания на надпись – это не для своих, а для старой девы, чтобы

чужое не хватала. Только не уколись булавкой.

Змеиная хитрость её была в том, что она действительно с утра приколола английской булавкой бумажку с надписью «Из ванной не выносить» для бестолковой Лильки. Ей сейчас

нужны были эти двадцать секунд, которые он провозится с пледом и булавкой в ванной, чтобы

догола раздеться в спальнике.

Он, слава богу, провозился даже дольше, чем она планировала, и Ляля даже всполошилась, не оставила ли её безбашенная соседка пачку презервативов или что-нибудь столь

же неуместное на виду. Но Вадим наконец-то вышел с пледом в руках, когда она уже надёжно

зарыла всю одежду между спальником и подушкой.

– Плед, как у Шерлока Холмса, – заметил аналитически Савченко, – не хватает кресла-качалки, трубки и Бейкер-стрит за окном.

– Усаживайся поудобнее, – нарочито засуетилась она, поджимая ноги и поворачиваясь внутри спальника так, чтобы ненароком не обнажить грудь. Вадим послушно расположился на

дальнем конце кровати и уселся по-турецки, накрывшись пледом. Она мысленно отрепетировала

эту сцену накануне несколько раз, ревниво захронометрировав все свои действия. Сейчас, когда

всё её тело обратилось в один нерв, это помогло ей не суетиться и не раскрыть раньше времени

план игры. Она с его подачи уверенно залепетала что-то о Конан Дойле. Только для того, чтобы

выиграть время и в конце нескольких фраз утомлённо затихнуть, и, полежав в тишине секунд

двадцать, сказать жалобно:

– Знаешь, всё никак не согреюсь, даже в спальнике. Полезай сюда со своим пледом, у меня зуб на зуб не попадает.

Савченко жестом официанта, меняющего скатерть, махнул пледом, накрывая и Лялю, и полу спальника, которую она предусмотрительно откинула в сторону, и перебрался к ней, повернувшись боком так, что его лицо приблизилось к её плечу. Он хотел поправить сползавший с

неё плед и попал рукой на её упругую, обнажённую грудь. Он почему-то сразу, не глядя и не

дотрагиваясь до неё, сообразил, что она совсем голая под этим спальником, и на мгновение

оцепенел. Его начало трясти, как в ознобе, и именно в этот момент она прильнула к нему всем

своим телом, облокотившись локтем на подушку и обдав его нездешним запахом польского

дезодоранта. Не отрывая локтя от подушки, Ляля вплела свои пальцы ему в волосы и провела, как

гребнем, от основания до кончиков, зацепив мочку уха и поворачивая к себе его голову. Её лицо было так близко, что он, повинуясь инстинкту, буквально впился губами в её рот, обхватив левой рукой её шею, а правой лихорадочно расстёгивая молнию на джинсах.

Рука

дрожала так, что молния не слушалась и всё время заедала. Ляле вдруг стало смешно. «Вот непутёвый, – подумала она, – даже штаны снять толком не может. Сможет ли он вообще что-нибудь?»

Она оттолкнула его руку и стала настойчиво, но аккуратно расстёгивать непослушную молнию и через минуту, когда упрямая молния всё-таки поддалась, почувствовала дрожь его

возбуждения. Она легко оттолкнулась локтем от подушки, и её тело нависло над ним так, что её

маленькие, с торчащими сосками груди оказались прямо у его лица.

Когда он попытался взять её груди, как час тому назад брал в ладони её пальцы, руки его тряслись и как будто онемели. В ушах гулко стучало, будто отмеривал приливы и отливы крови

какой-то резонатор в физической лаборатории. Ляля мимолётно, но очень внимательно взглянула

ему в глаза и шепнула: «Не волнуйся, всё будет хорошо. Ты же хочешь меня?» Отчаявшись

успокоить свои по-прежнему трясущиеся руки, он прильнул к ней головой и вместо утвердительного ответа слегка боднул её плечо.

Что было потом, они оба помнили смутно. Сначала они как-то неловко возились в ворохе одежды и одеял, потом он всё-таки сумел обхватить Лялю и перевернуть на спину. Так он чувствовал себя увереннее: он превратился в механизм, выполняющий backward and forward

friction movements. Это дурацкое определение из какого-то учебного текста для занятий по

техническому переводу в тот момент всплыло почему-то в его памяти. Он так и не смог его тогда, на третьем курсе, толком перевести.

«Надо будет у неё потом спросить», – промелькнуло в голове, и он выпал из нормального человеческого состояния. Больше он ничего не видел, не слышал и не понимал.

– Ты что, робот? – шёпотом поинтересовалась Лялька.

Он, кажется, даже как-то рассеянно кивнул, в сущности признавая себя таковым, но было понятно, что он не уловил, о чём, собственно, его спрашивают.

Он был неумелым и старательным и по-прежнему действовал в состоянии душевной оглушённости, и Ляля невольно улыбнулась довольной внутренней улыбкой опытной и много  
знающей женщины. Он, кажется, и хотел и боялся её одновременно, и потому на самом деле  
двигался как умный, но запрограммированный робот.

Она чутко и с неведомым прежде любопытством прислушивалась к ощущениям в его теле,  
полностью сконцентрировав своё внимание на партнёре, чего никогда раньше не делала с Романом. Когда его снова стала бить дрожь, но уже другая, нарастающая, как крещендо, Ляля  
ринулась всем своим телом навстречу его толчку в самый последний раз и, молниеносно по-  
кошачьи отпрянув и оставив его снаружи, почувствовала, как низ её живота орошается  
тёплыми  
пульсирующими струями.

Она пружиной выскочила из-под него и помчалась в ванную, замечая следы, ступая след в след, как лисица, и зная, что так выигрышнее смотрятся её ноги и попка.

Но он ничего не видел. Он просто лежал, зарывшись лицом в подушку в полусознательном  
состоянии, граничащем с обмороком.

В ванной было зябко, а из душа хлынула остывшая, застоявшаяся в трубах вода.

Дождаясь горячей, с любопытством зачёрпывая тёплой рукой с живота сперму и смывая её под  
холодным душем, она вдруг обнаружила, что по внутренней стороне ноги вниз, на щербатый  
кафельный пол стекают кровяные стрелки. Месячные пришли раньше, чем она ожидала.

«Чёрт возьми! Он, наверное, тоже увидит. Конфуз-то какой! Ещё подумает, что лишил меня девственности».

Вернувшись из ванной и скорее почувствовав, чем увидев, его состояние, она опять взъерошила ему волосы и нежно сказала: «Спасибо».

Это «спасибо» стало впоследствии её визитной карточкой.

Спасибо, – говорила она каждому своему мужчине после секса, прокручивая в голове как заклинание:

«Спасибо за то, что увидел во мне женщину.

Спасибо за то, что ты мужчина.

Спасибо за то, что мы такие разные и поэтому нас тянет друг к другу.

Спасибо за то, что мир устроен таким, какой он есть».

Затем, напоследок, она чмокнула своего теперь уже сексуального партнёра, скомандовала одеться, и выставила за дверь.

«Ну что же, неплохо для начала», – подумала Лялька.

Конечно, сексом, к которому она уже привыкла, это трудно было назвать, но в принципе она осталась довольна: потенциал имелся, а опыт и мастерство – дело наживное. Она теперь

точно знала, что её будет занимать в ближайшее время. У неё появился питомец, которого нужно

правильно воспитать и обучить элементарным вещам.

Оставшись одна, она долго смеялась, вспоминая испуганные глаза Вадима, его дрожащие руки, неловкие от смущения движения. «Интересно, до него дошло, что это я его совратила?» –

подумала она. Потом начала приводить себя в порядок: уложила свои шикарные волосы, подвела

и подкрасила глаза, чуть припудрилась. Обвела взглядом комнату: обшарпанный платяной шкаф

с покосившимися дверцами на скрипучих петлях, убогие тумбочки около пружинных кроватей с

металлическими спинками. Люкс называется! Только что удобства в номере. Может быть, она

поторопилась? Наверное, лучше бы при свечах, за бутылочкой французского шампанского? Но

где? Дома родители. Не просить же ключ у кого-нибудь из подруг... Ладно, что сделано, то

сделано.

В это время в комнату влетела Лилька.

– Что с тобой? Что-то случилось? – с порога выпалила она и, поймав Лялькин удивлённый

взгляд, продолжила: – Там этот, твой красавчик, вокруг корпуса бегаёт, как ненормальный, что-то

причитает, типа, что он тебя погубил или убил... Я что-то до конца не врубилась, испугалась. Вдруг, думаю, он маньяк... Вот прибежала тебя спасать. А ты жива-живёхонька и неплохо, между прочим,

выглядишь. Тебе эта помада очень идёт. Ты что, ею раньше не пользовалась?

Всю эту тираду Лилька выплюнула со скоростью пулемётной очереди. Лялька вначале оторопела, а потом всё поняла и снова расхохоталась:

– Не волнуйся, это я его... Он, видно, испугался. Бегу успокаивать мальчика.

Женская рассудочность, как обычно, осталась при ней. Раз он бегаёт по снегу вокруг корпуса – придётся бегать за ним и утешать. Без куртки много не набегает. Она машинально

хватала куртку, варежки и торопливо влезала ногами в тёплые финские «дутики» из «Берёзки».

Может, она действительно пережала для первого раза? И её алхимик теперь безнадёжно испорчен, как игрушка, которую затискали до того, что она сломалась? Что он там бормотал при

Лильке? «Погубил»? Это прямо из пьес Островского...

Ляля понеслась вниз по лестнице, хватаясь рукой за виниловую поверхность перил, испещрённую гвоздевыми царапинами – руническими надписями местных остроумцев.

Нет,

конечно, это следовало устроить в алькове, под тихую музыку и французское шампанское... А тут

эти перила... И казённый неистребимый дух турбазы...

Она выскочила на улицу, больно ударившись плечом о тугую, неподатливую дверь, и быстро, как пограничная собака, взяла след – направо от крыльца, уже слегка припорошенные

снегом, шли две шаткие борозды. Ляля бросилась вслед по ним, стараясь ступать в при-  
топтаный  
снег. Интересно, куда он ушёл? И как далеко? Борозды вели её вокруг здания («По пери-  
метру», –  
подумала она, опять мысленно примеряя его менталитет). Она прибавила ходу и побе-  
жала  
вприпрыжку, проваливаясь в снег, но уже не обращая на это внимания. Налетела на него  
сразу за  
углом здания, где он стоял, озябший и потерянный, почему-то без шапки и с растрёпан-  
ными  
волосами, как декабрист, по нерадивости опоздавший на Сенатскую площадь, а теперь  
всё равно  
обречённый на кандалы и сибирскую ссылку. Он был так жалок и растерян, что шутливое  
настроение, с которым она выбежала из комнаты, моментально испарилось, а на смену  
пришла  
женская жалость и нежность. Ляля бросилась к нему, зарываясь обеими руками в его  
волосы,  
похолодевшие на морозе, и нежно поцеловала его в губы. Она рывком расстегнула мол-  
нию на  
куртке и притянула его замерзшее лицо вниз, ближе к теплу своей груди, одновременно  
стараясь  
согреть своим дыханием его холодные, мокрые от снега волосы. Ляля шептала ему в ухо  
что-то  
нежное и неразборчивое – какое-то «Что? Ну что, мой милый? Ну что с тобой? Я что-  
то сделала не  
так? Ты обиделся?» При этом она целовала его снова и снова, ощущая со стыдом и радо-  
стью, что  
в ней снова начинает томиться вождление. Внезапно она почувствовала, что его лицо,  
стылое  
ещё минуту назад, вдруг стало тёплым и мокрым... Он плакал – тихо и без всхлипов,  
как котёнок, и  
Ляля ошеломлённо затихла. Теперь она боялась спугнуть его даже своим шёпотом, нена-  
роком  
обидеть теми милыми и бессвязными глупостями, которые шептала ему ещё минуту  
назад.  
Она молча повела его обратно, в казённое тепло турбазы, заботливо увлекая его в  
протоптанную колею и смело вышагивая рядом по снежной целине, проваливаясь на каж-  
дом  
шаге и теперь не обращая на это никакого внимания. Около ступенек она сняла с руки  
варежку,  
ласково на неё подула и так же ласково, птичьими движениями промокнула остатки слёз  
на его  
щеках. Снова прильнув к нему, Ляля шепнула:  
– Я, наверное, знаю, что ты можешь мне сказать. Всё было в первый раз. У тебя. Женщины  
это чувствуют. Я рада, что это было со мной. Только никому не говори... О том, что в  
первый...  
Пусть это будет твоя тайна. Моя, конечно, тоже. Есть вещи, которые не забываются, если  
о них не  
говорят вслух.

И он послушно кивнул головой.

Вадим совсем не запомнил остаток того дня. Как будто все его чувства отключились, а память скрылась в омуте забвения, куда она услужливо складывает все ненужные нам впечатления. Много позже, напрягая бесстрастную рассудочность, он поневоле приходил

к

выводу, что остаток дня не мог куда-то деться, ведь куда-то это время потрачено? Куда?..

Он мог, логически рассуждая, допустить, что что-то делал в эти оставшиеся часы и даже был занят какими-

то хлопотами. Ну, скажем, сдавал номер и предъявлял вредной кастелянше-кабардинке со

скандальным голосом, какой бывает только у вредных восточных женщин, полотенца и наволочки

от подушек по счёту за себя и своих соседей по комнате. Потом он, кажется, забирал свой паспорт

в зелёном дерматином из отдела регистрации, куда сдал его 10 дней назад на временную прописку. Зелёная оболочка паспорта, казённая и бездушная, как и все документы, всегда

напоминала ему МАИ с его бесконечной казёнщиной коридоров и обычно вызывала глухое,

необъяснимое раздражение – может, потому, что в ней стояли эти мерзкие штампы о прежней

прописке из Центрально-Городского района Изотовки, как Каинова печать провинции?

Или

потому, что текст там был на двух языках – русском и украинском, что, как и всякая бессмыслица, оскорбляло его стремление к простоте и логике. На кой чёрт изгаляться в документах – писать их

на языке, который не существует, по крайней мере в Изотовке? И не более живом, чем латынь?

Но в тот вечер, когда он (Это ведь было? Это должно было быть?) забирал паспорт в каморке паспортного стола без окон, с глухой дверью, обшитой выкрашенным ядовито-зелёной

краской листовым железом, ему было решительно всё равно. Он сам себе казался (теперь, многие

годы спустя, слово найдено) бесплотным, бестелесным трёхмерным образом, голограммой,

нарисовавшейся в пространстве комнатухи, и ему было смешно, как этого не понимает тщедушный, с залысинами армянин-участковый, который донимал Савченко вопросами:

как

получилось так, что по-украински слово «фамилия» – это, видите ли, «призвыще», а отчество –

вообще какое-то несуразное «по-батькови». В другое время Савченко, перевозмогая раздражение,

вступил бы в интеллектуальный спарринг с армянином, но в тот день он был так оглушён произошедшим, что отвечал бесцветно, терпеливо и безучастно, как отвечают слабоумному

ребёнку опустошённые трагедией родители. И армянин, так и не удовлетворив в полной мере

своего мальчишеского любопытства, наконец отстал и с досадой отдал ему паспорт.

Савченко только запомнил, что всё куда-то ходил по базе: из столовой к себе в жилой

корпус, оттуда зачем-то в актовый зал, от кастелянши из хозблока – в переговорный пункт, где был

один на всю турбазу междугородний телефон; он ходил и ходил без остановки, неприка-  
янный,

как Агасфер, но только, в отличие от библейского персонажа, пьяный и шальной от сча-  
стья. Его

воспалённое воображение снова и снова бросало его туда, в комнату, залитую белым  
медицинским светом от сугробов за окном. Ему казалось, что всё его тело горит, и он  
расширенными глазами всматривался в это наркотическое видение: её грудь, её стройные  
бедра

и искажённое страстью лицо.

Такое похожее на помешательство наркотическое смешение реальности с бредом он  
испытал раньше один раз в раннем детстве, когда при проверке у глазного врача ему  
закапали

атропин и он потерял контроль над собой и реальностью.

А в тот остаток дня он запомнил только один момент скоротечного протрезвления: когда  
она, оторвавшись от своей вездесущей подружки, подошла к нему после ужина в столовой  
и, не

обращая ни на кого внимания и не заботясь о том, что подумают окружающие, повела его,  
покорного, как телёнок, в угол кафе. Она внимательно смотрела ему в лицо своими пуши-  
стыми

глазами, и он сразу протрезвел – атропин перестал мутить его мозг и чувства.

– Егерь, обещай, что ты не пропадёшь в Москве в своём сумасшедшем МАИ, – сказала  
она

тихо. – Обещаешь?

Он, слава богу, снова мог смотреть ей в лицо без стыда и стеснения. И это было радостно  
и

странно. Он кивнул, каким-то образом понимая, что сейчас лучше безмолвствовать.

– Знаешь, на Западе... то есть за границей, – поправилась она, – принято посылать  
благодарственные письма на дорогой писчей бумаге после встречи или пребывания в  
гостях. Я не

раз в английской литературе натыкалась на эти подробности. У нас почему-то эта тра-  
диция не

прижилась, а жаль. Зато у нас открытки-поздравления с Новым годом. Хочу тебя побла-  
годарить за

всё: и за то, что вытащил меня из снега, и за наши разговоры под чай и творог с кефиром.  
И,

главное, за всё, что было сегодня, – сказала она, – смело глядя ему прямо в глаза. Она  
протянула

ему новогоднюю почтовую открытку, где Дед Мороз с развевающейся бородой и Снегу-  
рочка в

кокошнике мчались в санной тройке, под дугой, на которой вместо колокольчиков при-  
чудливо

извивались цифры 1 9 7 2.

– До встречи в Москве, – тихо и убеждённо сказала она. – Ты там когда будешь?

– Дней через шесть, – в тон ей ответил он, как будто он и впрямь постоянно жил в Москве  
и столичный город по праву принадлежал ему.

– Сама понимаешь, в Изготовку заехать надо, – сказал он с уверенной интонацией

молодого барина, которому по дороге в столицу нужно по делам заглянуть в какую-то богом

забытую Кистенёвку.

– До встречи в Москве, – повторила она, как одному из своих, как будто почувствовав этот

его подтекст и мысленно вычеркнув из мира всё прочее, и прежде всего Изотовку. – Я буду ждать.

Она стремительно и легко, одним летящим прикосновением поцеловала его в губы, словно ласточка прикоснулась крылом, и стремительно пошла к выходу из столовой, где

Лилька в

ожидании её с шумом и прибаутками прощалась с очередным братцем-месяцем.

Савченко неотрывно следил за ярко-красной фигуркой, пока она не скрылась в проёме двери, и машинально посмотрел вниз, на новогоднюю открытку в руке. На обороте, пере-

крывая

собой всё пустое пространство наискось и обрываясь рядом с пропечатанной маркой «Почта СССР.

4 коп.» красивым крупным почерком отличницы было написано: «До встречи в Москве»

и

семизначный номер её телефона.

Глава 4

«Москва видала всякое...»

Снова и снова листая страницы памяти, он всякий раз до физического озноба в теле вспоминал, как жутко мёрз в ту зиму; когда-то раньше, ещё в изотовской школе, он обра-

тил

внимание на вещую фразу из сибирских, кажется, воспоминаний мрачного и нелюбимого

им

Достоевского: «Я промерзал до самого сердца». Фраза эта – цитата из убогого школьного учебника по литературе, что ли, стала для Савченко рабочим девизом на весь остаток той студёной зимы. Почему? Чёрт его знает?! Сентенция эта ему вовсе не нравилась, да и

не шла к его

психотипу. Было в этой фразе что-то извращённое, как и всегда у Достоевского – теперь

бы

сказали «пафосное»; разило от этой фразы какой-то пьяной, слезливой и сопливой рус-

ской

трактирной исповедальностью, каким-то бесстыдством души.

Но это «промерзал до сердца» маячило над ним, как вывеска над магазином, с того дня зимой семьдесят второго, как он заехал с Кавказа к родителям в Изотовку. Поезд безна-

дёжно

опоздал, потому что уже под Ростовом разыгралась жуткая метель и впереди пошли снегоочистители. А после метели ударил сильный, для Изотовки нетипичный мороз, и

Савченко

замёрз, как барбос в неотапливаемом трамвае, который тащился от шахты «Кочегарка»

до

Пушкинской. Задним числом ему казалось, что он так и не отогрелся после этой стужи

на улице и в

трамвае – в их хрущёвке были отвратительные батареи, и тепла хватало на полкомнаты.

И этот

стылый неуют подхлестывал его мысленно все дни пребывания в Изотовке и неудержимо

гнал его

в Москву. К ней...  
Он позвонил ей после возвращения в первый же день из насквозь промёрзшей, покрытой бахромой ледяных узоров телефонной будки возле метро «Динамо» – средней в ряду из трёх,  
предварительно заскочив по очереди в обе крайние. В той, что справа, трубка нестерпимо разила дешёвым одеколоном – то ли «Цветочным», то ли «Шипром», как будто кто-то нарочно вылил на неё целый флакон, так что у Савченко от этого резкого коктейля из одеколона и морозного воздуха перехватило дыхание, он поневоле вспомнил парикмахерскую «Чародейка» на Шахтёрском проспекте в Изотовке, куда его водили стричься в детстве. Он переметнулся в будку на другом краю, по привычке стремясь к тому, чтобы его не подслушивали с обеих сторон, но там зуммер в трубке звучал прерывисто и как-то слабо, будто пульс умирающего, а проклятый диск выгнут так, что застревал на возврате, и его приходилось пальцем тащить обратно при наборе каждой цифры. Номер, кажется, всё-таки набрался, несмотря ни на что: он явственно услышал её голос на другом конце линии, но связь тут же прервалась. Монета-двушка была потеряна, и он, решив не рисковать, переместился в среднюю будку, где ему наконец улыбнулась удача. Слава богу, что это снова она: «Добрый день, я вас слушаю». Он мимолётно отметил необычную манеру её телефонного приветствия – в Изотовке, да и в Москве, он по преимуществу наткнулся на какое-то грубое «аллэ» или не менее категоричное «да!», похожее больше на грубый окрик, чем на приветствие. Ему, конечно, было невдомёк, что автором этого нездешнего телефонного этикета являлся Лялин отец со свойственным ему армянским политесом. Жора уделял непропорционально большое внимание мелочам, справедливо полагая, что из них и состоит жизнь – по крайней мере, жизнь удачливого, состоявшегося человека. Ляле было лет семь или восемь, когда он категорически настоял, чтобы на все телефонные звонки в квартире отвечала Ляля, полушутя-полусерьёз отмахиваясь от недоумённых возражений жены. – С твоей серьёзной работой – как можно доверять это ребёнку?! Она же маленькая! А вдруг Громыко позвонит? И что она будет говорить в трубку? Жора, усадив Лялю в кресло рядом с телефоном, решительно отмёл все возражения жены: – Ребёнок не маленький. У нас в Армении дети в семь лет бурёнку на выгон с хворостиной гоняли за несколько километров – и ничего. Что дочка будет говорить и, самое главное, как? В этом и суть вопроса. Сейчас я ей устрою тренинг на тему: «Как очаровать человека на другом

конце провода». Моя дочь – мой козырь в общении и с подчинёнными, и с начальством. Меньше

хамить будут. Произойдёт смягчение нравов, так сказать. У нас и так грубости в народе перебор, как и в министерстве, впрочем. Как печально констатирует старая революционная песня, «вышли

мы все из народа...» И это, увы, чувствуется на каждом шагу, – не смог удержаться от ехидного

комментария Жора.

Он и впрямь написал на листах, вырванных из мидовского блокнота, несколько сценариев возможного телефонного разговора и, вручив Ляле трубку от её старого игрушечного телефона,

несколько раз сыграл с ней ролевою игру, притворяясь то своим коллегой по МИДу, то родственником из Армении, то телефонисткой с междугороднего коммутатора, то просто абонентом, набравшим номер по ошибке. Он гонял её по разным вариантам импровизации около

часу, следя за тем, чтобы Лялин голос не срывался на детский писк, и настаивая на том, чтобы она

говорила уверенно, со взрослыми интонациями, но неизменно вежливо.

– Ляля, это вы? – От неожиданности её приветствия он тоже перешёл на более официальный тон.

– Да, это я. – Ответ пришёл после секундного колебания, от которого у него ёкнуло сердце.

Ему почудилось, что дальше внезапно, как удар хлыстом, последует вежливый от ворот поворот.

Но она, слава богу, тут же перешла на ты и спросила ласковым голосом, не оставляющим никаких

сомнений:

– Ты в Москве? – И дальше без колебаний, как старому знакомому: – Давай встретимся? «Встретимся»!!! В душе у него всё запело, и, не слыша своего голоса, он сказал, теле-

графно

отделяя слова, отчего они приобретали особую таинственность:

– Давай. Обязательно. А где? И когда?

– Ну конечно, не в твоём общежитии... – Он услышал, как она усмехнулась в трубку. – Может, у меня дома? Дай я подумаю над деталями...

При этой фразе у него выступила под шапкой на лбу испарина. Эти «детали» могли значить

многое – собственно говоря, всё.

– Позвони мне завтра сюда, и именно в такое время – не раньше четырёх и не позже семи. Я как раз одна в это время. Занимаюсь, английский учу, – добавила она зачем-то целомудренно. –

Кстати, у меня книга тут одна появилась. Тебе может понравиться. Правда, она на английском. Из

той самой параллельной математики, о которой ты мне в первый день толковал. Где дважды два

– совсем не обязательно четыре. – Она снова явственно усмехнулась в трубку. – Но это не страшно

– я могу тебе перевести самые интересные куски. Так что, когда приедешь, почитаем. –

Она снова

издала какой-то заговорщицки дружеский звук в трубку. – А теперь, молодое математическое

дарование, проверим вашу память на цепкость. Адрес запомнишь, егерь, или нужно записать? Ты

вообще откуда звонишь-то?

Чем дольше длился разговор, тем более свойским становился её голос, и именно поэтому Савченко устыдился сказать правду.

Чёрт бы подрал этот вечный сюжет – принц и нищий! Этот доверчивый, приятельский голос в трубке... Нет, признаваться в том, что он звонит из промёрзшей будки городского автомата, казалось сейчас невыносимым!

– Да знаешь, с кафедры, – без усилий соврал он, – но записывать тут на виду у всех не с руки. Придётся положиться на математическую память. Диктуй – запоминаю.

Она толково и лаконично, как учил её отец, выдала ему все полагающиеся инструкции – до

какой станции метро ехать, из какого вагона выходить, по какой стороне тротуара и куда идти. Он

поймал себя на мысли, что с удовольствием запоминает всю цепочку объяснений, будто ему

диктовали какое-то стройное в своей абстрактной красоте уравнение.

– Только знаешь что, – напоследок сказала она, становясь серьёзной, – обязательно позвони мне из автомата в метро, перед тем как выехать. Ладно? Без звонка не приезжай, – ещё

раз, совсем уже серьёзно сказала она, и он понял, что планируется какая-то многоходовка.

Наверное, чтобы он не встречался с её родителями.

Это меняло всё – эта надежда и её тёплый, свойский голос в трубке. В тот вечер он с энтузиазмом бросился через свежие московские сугробы в школу, где мыл по ночам полы

в спортзале за семьдесят рублей в месяц; в этот раз он даже не содрогался от стужи и усталости, как

это бывало прежде, потому что завтра или послезавтра его ждала она... Он лихо махал шваброй,

добросовестно меняя воду в ведре после каждого поперечного прохода по ширине спортзала, с

удовольствием глядя на свежую чистоту крашенных досок с баскетбольной разметкой, а мысли его

деловито носились в завтрашнем дне: он лихорадочно прикидывал, где можно купить цветы и что

уместно принести с собой в подарок.

На следующий день сразу после занятий он поехал на метро с пересадками в гастроном «Новоарбатский», зная, что там с большей или меньшей вероятностью можно купить какие-то

сладости. Стоя в короткой очереди, скорость движения которой была тем не менее обратно

пропорциональна её длине, в кондитерском отделе в самом углу магазина, он, как нелёгкое

уравнение, решал житейскую задачу под названием «Что купить в качестве гостинца?» – корректную коробку мармелада в шоколадной глазури или, по контрасту, килограмм развесной

пастилы? Вадим с детских изотовских лет любил пастилу, да и стоила она дешевле – всего 70

копеек килограмм, но ревностная интуиция провинциала горячо твердила ему в ухо, что заявиться

к ней на квартиру с мещанским серым кульком вместо какой-никакой, но все-таки нарядной

коробки – это совсем не по-московски. «Тут тебе не турбаза», – ещё раз твёрдо сказала ему

интуиция почему-то женским голосом, и Вадим сдался. Обернувшись к тётке в мохеровой шапке,

он вежливо улыбнулся и, нарочито акая по-московски, попросил её подержать его место в очереди, пока он сбегает в кассу. На сдачу он попросил у кассирши десяток двушек, мысленно

поздравив себя с тем, что он стремительно превращается в практичного, всё предвидящего,

оборотистого даже в мелочах москвича.

До встречи оставались два сопряжённых и взаимозависимых действия – звонок ей и покупка цветов. И то, и другое можно сделать у Киевского вокзала, и Савченко, не ощущая даже

январской стужи, вскочил на подножку троллейбуса, радуясь тому, что не придётся мёрзнуть на

остановке. Уж если ждать после звонка, то лучше на вокзале, в зале ожидания, не трясясь при

этом от холода.

Пока Вадим искал телефон-автомат, он машинально отметил про себя, что никогда раньше

не уезжал с Киевского вокзала, даже в Подмосковье на электричке.

«Странно, что за всю жизнь ни разу отсюда не ездил в Киев, – подумал он. – Да и в Киеве я бывал всего раз – ездили с родителями в круиз по Днепру».

Вокзал оказался хоть и большим, но бестолково спланированным, и Савченко пришлось увёртываться от потока пассажиров, которые выходили через машущие двумя створками

двери на

платформу под сводчатым куполом. Озираясь в поисках телефона-автомата, он наметанным

глазом отметил присутствие тёток в толстых ватниках и валенках, которые, переминаясь с ноги на

ногу, торговали цветами, укутанными от мороза в мешковину.

Под сводами вокзала стоял неумолчный гул, а телефоны висели в ряд на стене зала ожидания – на укромность рассчитывать не приходилось. Из метро звонить ещё хуже – те же

децибелы, плюс шум поездов. Савченко набрал номер, и она моментально сняла трубку – звонок

явно ждали. Он снова услышал в трубке давешнее вежливое приветствие, и уже смелее, на правах

давнего приятеля, сказал:

– Здравствуйте, Красная Шапочка. Дровосек прибыл в новый лес, осваивать территорию. Хотелось бы делать это вместе с вами.

Она ответила ровным, дружелюбным голосом:

– Знаешь, сейчас ещё занимаюсь. Давай так: я тебе перезвоню через полчаса. Или ты мне

позвони.

Он сообразил, что в квартире родители, при которых она не хотела вдаваться в подробности.

– Я тебе позвоню через полчаса, – ответил он ей вполне понятно.

– Только обязательно перезвони, чтобы я не ушла, – добавила она со значением.

Он повесил трубку и радостно ринулся к выходу из вокзала, где ещё раньше заприметил тёток-цветочниц. Те встретили его радостными возгласами. Они без труда вычислили, конечно,

что он идёт на свидание и, дружески подначивая его, не извлекая цветов из-под толстых слоёв

мешковины, стали торговаться: «Цветы как женщина, молодой человек, они любят тепло.

Что же

мы их морозить будем? Розы, парниковые красные. Сегодня сама срезала. О цене договоримся –

тогда и покажу. Да и вам их под куртку придётся прятать – а то не довезёте до барышни своей –

помёрзнут!»

Он купил пять свежих красных роз на длинных точёных стеблях-ножках у самой широкоскулой из тёток («Поскреби русского – обнаружишь татарина», – вспомнился ему сардонический афоризм). Цветочница с морозными пятнами румянца на белых, вполне славянских по цвету щеках, пересчитывая мятые рубли и нежно укутывая цветы в обрывок серой

мешковины, сыпала шутками и пыталась с сугубо женским любопытством выудить у Вадима

ненужные ей подробности: как зовут его зазнобушку и красива ли она. «Что ты парня смущаешь,

окаянная!» – осадил её соседка, то ли досадуя на то, что он купил цветы не у неё, то ли ревнуя

говорливую татарку к нему и его молодости. Но его было не смутить – он нежно, будто новорождённого младенца, принял свёрток из проворных рук татарки, которая, избыточно

прикасаясь руками к его куртке и свитеру под ней, приладила колючий свёрток под тёплой полкой, похлопав парня по груди и ловко застегнув молнию куртки. Все эти манипуляции вызвали новый

приступ сарказма у её соседки, которая, картинно сплюнув в сторону, воскликнула с плохо

скрываемой досадой:

– Всего облапала, шалопутная! Его зазнобе ничего не останется! Отступишь ты от мальчика,

сказано тебе! Он тебе в сыновья годится!

– Сама знаю, на что он мне годится! – распутно заявила татарка, широко улыбаясь ему, и добавила со значением: «Желаю, чтобы не зря ты сегодня на букет потратился. Приходи ещё, если

цветы нужны, ну или окромя цветов что ещё... Как говорится, “сорок пять – баба ягодка опять!”»

Чтобы не загубить розы, он вскочил в промёрзший полупустой троллейбус. Подпрыгивая на сиденье-недомерке и жмурясь от слабых лучей закатного зимнего солнца, безуспешно борющихся с крещенским морозом, подняв воротник и отвернув полу куртки, он усиленно дышал

куда-то в направлении подмышки, согревая мешковину и спрятавшиеся под ней цветы.  
От остановки пришлось забежать в магазин «Рыба», чтобы снова набрать её номер из автомата.

– Где вы, милый егерь? – спросила она с особыми интонациями в голосе, и Савченко понял, что Ляля уже одна в квартире. – Вы что там, мёрзнете в лесу? Бегом в мою избушку!

Греться...

И она положила трубку. Он так торопился её увидеть, что не стал дожидаться лифта и большими шагами, словно лось, поскакал вверх по широкой лестнице, поскальзываясь на кафельных плитках площадок и придавая ускорение своему бегу, хватаясь за широкие, покатые

поручни перил.

Савченко помедлил перед дверью, глядя в оптику широкого нездешнего цейсовского дверного глазка, словно пытаясь поймать в нём своё отражение. Он вдруг вспомнил, что забыл

стряхнуть снег с ботинок, и, не отрывая взгляда от глазка, лёгким танцевальным шагом отошёл от

двери к следующему, ведущему наверх, пролёту лестницы, поочередно задирая ноги назад,

аккуратно сбил с ботинок подтаявшие ошлёпки мокрого снега. Освободив цветы из мешковины,

которую он засунул на самое дно портфеля, снова подошёл к двери и нажал податливую кнопку

звонка.

Он почему-то заранее приготовился к полутьме прихожей, и потому неожиданный поток яркого, праздничного света от люстры за открытой ею дверью сбил его с толку и заставил на

секунду помедлить. Она стояла посреди большой прихожей в необычном домашнем костюме,

состоявшем из узкой юбки до полу из тёплой и мягкой, похожей на плед ткани, которую дополняла жилетка, надетая на тонкую водолазку. Это была другая, непохожая на стильную

девочку в вишнёвом лыжном костюме Ляля. Она показалась ему женственно-элегантной и даже

гораздо выше ростом, чем запомнилась там, в Чегете.

– Ты стала выше, Красная Шапочка! – воскликнул он, жадно поедая её глазами – чёрные с отливом волосы, улыбку, стройную фигуру, обтянутую водолазкой, которая виднелась из-под

жилетки... И тут только вспомнил о букете в руке. Розы в ярком свете люстры выглядели по-

нездешнему великолепно, и он мысленно поздравил себя с тем, что не стал жадничать там, на

вокзале.

– Розы! Ты с ума сошёл! – укоризненно воскликнула она. – Дровосек, где ты их раздобыл в

это время года? То есть я хочу сказать, во что это тебе обошлось?

– В дремучем Дорогомиловском лесу, вестимо, – принимая условия игры, ответил он,

имитируя густой мужицкий бас и мимолётно вспомнив разбитную татарку-цветочницу. –

А обошлось в сущие копейки. Пятьсот копеек медными деньгами. Она оторопела на секунду, переводя в голове копейки в рубли, и шутливо замахнулась на него букетом.

– Тьфу, Дровосек, опять ты со своей математикой! Не удивлюсь, если ты платил за цветы деньгами, меряя их не номиналом, а весом. Сколько будут весить пятьсот копеек, ну-ка?

– У меня ещё и сдача осталась – на звонки из автомата. – И он шутливо побренчал в кармане куртки заветными двушками.

– Слушай, чего мы здесь стоим? – засуетилась она. – Проходи в избушку. Я, как истинная Красная Шапочка, пирожков тебе припасла. Если быть точной, не пирожков, а ватрушек.

И если быть совсем точной, то не я сама, а моя матушка. У неё первая половина дня свободная.

Я же помню, что ты сладкоежка.

– Готовить, увы, не умею, яичница не в счёт, – Савченко вытащил из портфеля коробку с мармеладом, – а это – подтверждение твоего тезиса о том, что я сладкоежка.

– Горячий чай из самовара и ватрушки ждут тебя! – Ляля снова взмахнула букетом. – Снимай куртку, от неё морозом веет. Пошли греться. Проходи в гостиную, я сейчас! Савченко благодарно кивнул вслед уносящейся в кухню Ляле. Ему не хотелось снимать при ней ботинки: в этом, как и в демонстрации мужских носков, было что-то необъяснимо постыдное, но что, он и сам сказать не мог. Ему вдруг вспомнилось, как в Изотовке в шумных праздничных компаниях не на первой стадии подпития мужчины без ботинок, в одних носках танцевали в тесной хрущёвской малометражке на бугристых досках крашеного пола, наступая невпопад на босые ноги своих партнёров.

Он, конечно, загодя знал, что у неё придётся снимать ботинки в прихожей, и специально надел толстые шерстяные носки, которые, слава богу, не выглядели так позорно, как обычные. И всё же хорошо, что она умчалась на кухню... Вадим, как садовый ёж, стремящийся быть незаметным для потенциальных хищников, потыкался по периметру большой прихожей, соображая, куда бы поскромнее пристроить свои зимние ботинки, которым по их внешнему виду был уже не первый год. Нужное место нашлось у стены рядом с входной дверью.

– Ну, где ты там застрял? – услышал он голос Ляли. – А ещё говорил, что любитель чаю.

– Моя тропа к чаю пролегает через кран с тёплой водой. Где можно помыть руки?

– Иди сюда, ванная рядом с кухней! – Она перекликалась с ним, будто они и вправду очутились в лесу.

Он пошёл на звук её голоса (в этой большой квартире немудрено потеряться, как в чаще). Чуть не налетел на неё, шедшую с подносом ватрушек в руках по длинному коридору, и вдруг сообразил, что здесь, в Москве, в уюте своей квартиры и в обычной, а не горнолыжной одежде, она оказалась ещё красивее, чем там, на турбазе Чегета.

Она вручила ему двумя руками поднос, как будто подносила хлеб-соль заморскому гостю,

и, шутливо развернув его вокруг собственной оси, подтолкнула в сторону гостиной. Там действительно стоял самовар, правда электрический, и на его конфорке кокетливо угнез-  
дился

заварной фарфоровый чайник из сервиза «Мадонны», что придавало исконно русскому самовару

какой-то европейский флёр. И свет люстры в прихожей, и запах ванили на кухне, и этот самовар в

окружении красивого сервиза и мельхиоровых ложечек – всё это постоянно наводило его на

мысль, что он нежданно-негаданно попал на какой-то праздник, где ему рады и где его ждали.

– Руки мыть в ванной, и сюда со скоростью эха, – шутливо скомандовала Ляля. – Правда, не чета тебе, я не знаю скорости эха, но подозреваю, что это очень быстро.

Он усмехнулся и, по-прежнему переживая это безотчётное чувство праздника, действительно едва не вприпрыжку помчался в ванную.

Когда он снова вошёл в гостиную, она уже налила ему крепкий, с оранжевым оттенком чай

в нарядную чашку и красиво, в полукруг, выложила на тарелку перед ним три ватрушки.

– Пробуйте, Дровосек, эта выпечка лучше, чем в сказках Перро – знакомая моей матушки долго в Румынии в посольстве жила и поделилась специальным рецептом. Это не просто вульгарная русская ватрушка, а «плачинда ку брынза». Только «брынза» по-румынски – любой

сыр, в том числе и творог, а не та солонятина, которую здесь в магазинах продают. А это вот, по

анalogии, «плачинда ку мере», то бишь ватрушка с яблоками. Ну, а это в Европе называется

выпечка по-датски – с вишнёвым вареньем.

Савченко, по-прежнему ощущая себя заморским гостем у царя Салтана, прервал её кулинарный экскурс вопросом:

– Дровосеки, будучи из самых низов общества, цепенеют в присутствии Красных Шапочек

с их неземными манерами. Посему неловкий вопрос: вот, например, эту датскую выпечку полагается резать ножом или уместно откусывать от неё?

– Помню, помню твои экзерсисы с двумя вилками и одной сосиской, – рассмеялась Ляля. –

Не усложняй. Москва – город купеческий. Картину «Чаепитие в Мытищах» помнишь?

Где ты там

видел, чтобы ножом орудовали? Ешь так! – И она сама беззаботно махнула в воздухе ватрушкой.

Ватрушки, крепкий чай с лимоном, красивый сервиз – Савченко никак не мог отделаться от

ощущения, что он попал на съёмки какого-то фильма, где ему нежданно-негаданно досталась

роль главного героя. Под ярким светом люстры, как будто под кинопржектором, он вдруг

почувствовал себя на своём месте. Он даже немного удивился тому, как ему легко и просто с ней, насколько она, несмотря на эти гигантские московские хоромы, в которые уместились бы две

хрущёвские квартиры-«трёшки» с планировкой, саркастически называемой в Изотовке «штаны»,

органично вела себя за столом. Савченко мимолётно вспомнил, как перед приходом сюда,

в

мёрзлом троллейбусе беспокоился о том, чтобы не накрошить ненароком на скатерть или не

поперхнуться чаем, и теперь эти опасения вызвали у него усмешку.

– Егерь, ты явно вспомнил что-то смешное. – Ляля смотрела ему в глаза через стол долгим,

проникающим взглядом. – Ну-ка, делись секретом! Как говорят англичане, даю пенс за то, чтобы

узнать, что у тебя на уме!

– Да ничего особенного, просто вспомнил, как продавщица цветов допытывалась, как выглядит моя девушка.

– А, значит, я уже твоя девушка?

Ляля ещё пронзительнее впиалась в него взором поверх чайной чашки.

Он почувствовал, что сморозил бестактность, и по загравку его пробежал холодок катастрофы.

– Нет-нет, что ты, я ничего подобного не говорил... – забормотал он, и вдруг действительно

чуть не подавился глотком чая, который торопливо отхлебнул, стараясь скрыть неловкость. –

Просто, знаешь, она, эта цветочница, сказала, что такой букет покупают только для очень неординарной девушки.

– Пряма-таки неординарной! – заметила Ляля иронически. – Егерь, ты не научился врать как

следует. По крайней мере, убедительно врать женщине, тем более с филологическим образованием. Где это видано, чтобы московские цветочницы употребляли слово «неординарно»?!

Она шутливо прикоснулась к его ладони ватрушкой, и он расслабился, почувствовав, что сказанная вскользь фраза не задела её. А может, даже наоборот, заинтриговала?

– Знаю я, о чём думают всякие-разные эти цветочницы! Ни о чём хорошем, можешь мне поверить. Нет существа любопытнее, ревнивее и коварнее женщины. Ты разве этого не знаешь?

Помнишь, как у Александра Сергеевича – а уж он был знаток женщин – метко сказано: «Ум у бабы

догадлив, на всякие хитрости повадлив».

Вадим зачарованно смотрел на неё, и ему по-прежнему казалось, что он на приливе вдохновения и энергии играет какую-то ключевую сцену в фильме. Он даже машинально взглянул

в угол, где стоял торшер, как будто ожидал увидеть там камеру.

– Ладно, признаюсь, «неординарная» – это, конечно, моя формулировка.

– И это всё, что ты можешь обо мне сказать?! – воскликнула Ляля с иронической обидой. –

«Неординарная» по сравнению с кем?! С цветочницами или с пассажирками метро?

– В точных науках «неординарная» – это комплимент высшего разряда.

– И что именно он означает? Не такая, как все, и только? Тоже мне комплимент!

– Нет, не просто не такая, как все. – Савченко почувствовал – как бишь это называли в умных телевизионных программах об актёрах? Мхатовское вдохновение? Хотя сам во МХАТе за

все эти годы побывал только раз. Что-то в ней было, что полностью освобождало его от глупой

изотовской застенчивости, и он на новом всплеске энергии снова выдал, как актёр со сцены: –

Неординарная – это ещё и «нетривиальная» – ну, как доказательство теоремы. Которое никому в

голову не пришло, а вместе с тем оно есть, и выглядит очень заманчиво и элегантно. Так, как этого

не ждёшь, не рассчитываешь.

– Да, Дровосек, ваши комплименты – это весьма штучный товар. На любителя. Впрочем, в

Москве или, как говаривали во времена Пушкина, на Москве, всегда найдётся барышня, которой

такая «неординарность» будет по душе. Слушай, давай ещё чаю? И ватрушки ты не все попробовал. У тебя что, плохой аппетит? Ты сохнешь от неразделённой любви? Кто-то разбил твоё

сердце и лишил тебя здорового волчьего аппетита?

Она, конечно, забавлялась с ним, играла, как кошка с мышью, но он всё равно почувствовал, что ей важно до конца понять, что и кто у него был раньше. И самое любопытное,

ему не было с ней стыдно! Этот вопрос ему никто не задавал. А задали бы, так Савченко покрылся

бы испариной стыда. А с ней? А с ней всё просто и легко, и он, даже не пытаясь соврать, сказал:

– Напускное отсутствие аппетита – это комплекс провинциала. Понимаешь, во всяких Изотовках бытует мнение, что есть много неприлично и провинциально, особенно перед особами

противоположного пола. Вот я и пытаюсь соответствовать. Там ещё могут ответить на уговоры

поесть: «Ну ладно, только чтоб хозяйку не обидеть». Вот я и думаю, например, что скажут твои

родители, если узнают, что я накинулся на угощение, будто приехал с Голодного мыса?!

– Я всегда могу взять вину на себя. Так что не комплексуй. Я тут, знаешь, на днях наткнулась на меткое выражение Пушкина, кому-то он в альбом его записал, кажется: «Желудок

просвещённого человека имеет лучшие качества доброго сердца: чувствительность и благодарность». Классная фраза, да? Так что хороший аппетит не противоречит образу столичного

жителя, даже напротив. У меня есть для вас сюрприз, товарищ студент. Интересная книга на языке

параллельной математики, то бишь на английском. Допивай чай – и я попытаюсь объяснить тебе,

сколько будет дважды два в этой параллельной системе счёта.

Она шутивно, но настойчиво сунула ему под нос чашку с чаем и аккуратно, двумя

пальчиками подала ещё одну «плачину». Требовалось отвлечь его внимание. Книгу, как капкан

на зверя, загодя приготовили в чаще спальни. Пока он послушно пил чай за столом, Ляля тихо,

беззвучно, как охотник, появилась в дверном проёме с книгой за спиной и сказала отчётливым

шёпотом так, что он не мог не обернуться:

– Дровосек, закрой глаза, пожалуйста. И не открывай без моей команды.

Он послушно закрыл глаза, и Ляля, поймав его ладонь, потянула его со стула за собой по простору комнаты, будто в детской игре, стараясь сбить его с толку и вращая в слепых пируэтах, пока она аккуратно, не щёлкая выключателем, гасила общий свет и снова зигзагами и кругами

влекла его всё настойчивее в угол комнаты, в кресло под торшером, который мигнул ей в глаза

мягким оранжевым светом.

– Не открывай глаза! – повелительно шепнула она, роняя его в широкое кресло и усаживаясь к нему на колени. – Я раздобыла самый главный учебник жизни. Такого ты в своём

МАИ не сыщешь! – тихо и торжественно воскликнула она. – Открывай глаза и смотри!

Мимо него, куда-то в счастливую и неведомую даль с акварельной бумаги незнакомых заморских страниц смотрели Он и Она, и становилось ясно, что сейчас их тела встретятся, и его

пиратская борода будет щекотать её груди, и его рука потянется туда, где художник небрежными

быстрыми мазками обозначил лобок с треугольником тёмных волос, таких же тёмных, как и в её

подмышках, а его член войдёт туда, где кончались эти нарисованные волоски. У Вадима стала

бешено пульсировать в висках кровь, и он сквозь нарастающий шум в ушах едва улавливал её

горячечный шёпот:

– Это учебник секса – от арифметики до высшей математики, – шептала ему Ляля,

протягивая раскрытую книгу. – Это сборник рецептов, только не по кулинарии, а того, что ты

можешь делать со мной, если, конечно, захочешь. У нас сегодня первое семинарское занятие, и

общая обзорная тема.

Её голос звучал всё тише и загадочнее, и она всё сильнее прижималась к его боку всем телом, одной рукой торопливо листая страницы, а другой забираясь между пуговицами его

рубашки и скользя вниз.

– Видишь, меню всех блюд на французском – *cassolette, patters d'araignée, soixante-neuf, flanquette, postillionage, cuissade, saxonus, pompoir*.

Она, как в бреду, с тайным удовольствием сыпала этими французскими названиями, ни одного из которых он прежде не слышал и тем более не мог понять, но ей нестерпимо хотелось

поразить его – в кои-то веки оказаться на недостижимой для него высоте.

– Мы с тобой всё это испробуем. Хочешь? Хочешь? – ещё более горячо шептала она. –

Только не сразу. Не сразу, но всё! Обязательно всё! Испробуем всё-всё-всё!!! – как заклинание

повторяла она.

Он потрясённо молчал – у него перехватило дыхание, потому что её рука как раз справилась с пуговицами и проникла ниже – туда, где бунтовала и рвалась наружу его плоть. Она, почувствовав это, одним прыжком вскочила с кресла, почти выкрикнув ему в лицо шёпотом: «За

мною!» – и потащила его в спальню, где горела уютная лампа-ночник в углу и было предусмотрительно откинута одеяло на кровати. Ляля, хватая обеими руками за рубашку так, что

чуть не оторвала пуговицы, опрокинула его спиной на кровать и сама ринулась вперёд, мягко

падая на него сверху, чтобы почувствовать сквозь слои одежды его возбуждение.

Он попытался её обнять, но Ляля, словно пловчиха, выныривающая из глубины на поверхность, подалась назад, выскальзывая юрким движением ящерицы из остатков одежды и

оставаясь совершенно голой в свете ночника. Он снова сделал движение вперёд всем корпусом,

намереваясь то ли обнять её, то ли раздеться, но Ляля, давая волю своему звериному желанию,

снова толкнула его обеими руками вниз, на кровать. Этот рецепт, вычитанный в книге, это блюдо

готовила сегодня она одна, и она знала, чем пронять его, своего неопытного, но такого желанного

ученика. Она снова нырнула к нему и двумя руками, ловко и споро, одним движением стащила с

него джинсы вместе с трусами, небрежно и не оборачиваясь швырнула их на пол позади себя. Он

сделал робкую попытку закрыться рукой, чем чуть не насмешил её: как бы ему удалось закрыться

одной ладошкой?! Подавив улыбку и глядя то на его лицо, то на то, что он тщетно пытался прикрыть рукой, она перенесла вес тела с коленок назад и оседлала своими влажными губками

его ногу.

Савченко резко поднялся ей навстречу и сел на постели – как раз в тот момент, когда Ляля

пружинно перекатилась со спины на колени, которые она поджала под себя, и они чуть не

стукнулись лбами друг с другом.

Ляля опять, второй раз за последнюю минуту мягко повалила его своим телом вниз, но теперь так, чтобы оказаться под ним и, широко раздвинув ноги, обхватила его лодыжками. Она

знала, благодаря женской интуиции и недремлющему сознанию, которое не отключается даже в

секунды самой проникновенной близости, что потом, когда забудется всё остальное, он будет

снова и снова вспоминать именно этот момент – самое первое своё ощущение, и потому осознанно себя тормозила и делала движения точными и размеренными. «Это же мой подарок

ему, а подарки не вручают суетливо», – успела подумать она, и в этот момент он вошёл в неё и

застыл в каком-то оцепенении.

Глава 5

Хорошая книга

Книгу ей подсунула мать на второй день после возвращения Ляли с Чегета. Пухлый томик

был предусмотрительно завернут в по-школьному сложенную обложку из цветных журнальных

репродукций, и Валентина специально дождалась отсутствия Жоры, чтобы вручить его Ляле,

препроводив церемонию элегантной словесной увертюрой:

– Ну-ка, давай проверим глубину твоих познаний в английском языке. Скажи-ка мне, как будет по-английски «хорошая книга»?

Ляля удивлённо уставилась на мать:

– Ну как иначе – a good book?!

– Во-первых, без «ну». – Валентина моментально вошла в роль строгой преподавательницы. – А теперь скажи-ка: а что такое тогда the good book?

Ляля, осознавая подвох, молчала, перебирая в голове возможные варианты.

– Сдаюсь, – наконец сказала она. – Не томи душу. Что же это за «та самая хорошая книга»?

– Ну, не обязательно «хорошая», – назидательно произнесла Валентина с какой-то внутренней рассеянностью, которая так контрастировала с её тоном, и не замечая, что сама стала

«нукать» по примеру дочери, – good ведь можно трактовать не только как «хорошая», но и как

«добрая» или, точнее, «добродетельная», «преисполненная добродетели». Итак, что же такое «та

самая, преисполненная добродетели книга»?

Ляля тупо смотрела на мать.

– Книга о светских манерах? – с надеждой спросила она, предполагая, что книгу ей раздобыл отец, и недоумевая, почему он не вручил её сам. Жора обожал делать дочери такие вот, исполненные интеллектуального подтекста, подарки.

Валентина с сожалением, как на маленькую, посмотрела на дочь и отчеканила:

– Та самая преисполненная добродетели книга – не что иное, как Библия, Евангелие, – после секундной паузы, как непонятливой ученице, повторила она. – Запомни и не путай, ради

бога, а то опозоришься где-нибудь в разговоре с американцами. Они, между прочим, набожные.

На мудрость эту я с размаху налетела сама по молодости лет – так что не повторяй моих ошибок.

– Так ты мне даришь Библию на английском? – почему-то всё ещё недоумевая, переспросила Ляля.

Валентина сделала какое-то неловкое движение плечами, будто поправляя на себе платье:

– Нет. The good book – это не по моей части. Это тебе мог бы подарить и отец. У него, кажется, есть Библия короля Якова – каноническая английская версия. А я хочу тебе дать просто a good book – что-то типа кулинарной книги. По крайней мере, она построена по лекалам

американских поваренных книг.

И с этими словами Валентина раскрыла обложку, чтобы Ляля могла прочитать заглавие – «The Joy of Sex». Ляля была так поражена, что даже не успела покраснеть. И вдруг увидела, как

прямо на глазах краснеет мать. Валентина поспешно нарушила её молчание, как будто продолжая

урок английского:

– Стандартное английское выражение – «узнать о птичках и пчёлках». Вот и тебе давно пора узнать о птичках и пчёлках – и не в общих чертах, а в подробностях. Подробностей здесь

будет хоть отбавляй. Вся интимная жизнь расписана в духе кулинарной книги. Как заниматься

любовью. – Она как-то поёжилась при этих словах. – Пособие для гурманов: закуски, ингредиенты, основные блюда...

Чем больше и торопливее Валентина говорила, тем раскрепощённой она себя чувствовала,

и Ляле показалось, что с погружением в детали, чем дальше, тем более пикантные, мать с облегчением уходила всё дальше и дальше от чего-то, что её беспокоило. А Валентина тем

временем продолжала перечислять, стараясь заполнить тишину комнаты своим голосом, но при

этом не сбиться на скороговорку:

– Ну и как же гурманам обойтись без французской терминологии? Её тут тоже хватает: всякие там *cassolette*, *pattes d'araignée*, *soixante-neuf*, *flanquette*, *rompoir*... Не буду переводить на

русский – слишком пошло звучит, во всяком случае для меня. Посмотришь в словаре. Короче, всё

это под девизом «Cordon Bleu sex».

Французские слова Валентина произносила с некоторым усилием и жёстким, на английский манер акцентом, и Ляля снова остро ощутила, как непросто даётся матери этот

разговор. Ей захотелось помочь Валентине выйти из неловкой ситуации, сказать что-то, что

угодно, лишь бы снять напряжённость, и она, не раздумывая, спросила первое, что пришло на ум:

– Тебе эту книгу подарили?

Вопрос почему-то разозлил Валентину, и она с неприступным ей ехидством парировала:

– Нет, в районной библиотеке взяла! Конечно, подарили. Бывшая ученица с курсов, только

что из командировки вернулась из Скандинавии. Отцу говорить о том, что я тебе эту книгу

показывала, необязательно. Он о ней знает, но армянские корни ему мешают с дочерью говорить

на эти темы. Тем более что там рисунки, и весьма откровенные. Читай, но ему не докладывай –

нам ещё одного инфаркта не хватало! Книгу из дому не выносить, подругам не давать и с ними не

болтать! Ставить в книжный шкаф на место – в заднем ряду, за томами «Истории Второй мировой

войны». И обёртку не вздумай снимать!

Книга уже перекечевала из её рук в руки Ляли, и той не терпелось заглянуть в текст и, паче

того, в рисунки, но она усилием воли старалась не опускать глаза вниз и продолжала смотреть на мать.

– Знаешь, зачем я хочу тебя с этой книгой познакомить? – вдруг спросила Валентина и впервые прямо, в упор посмотрела на дочь. Вопрос не предполагал ответа, конечно, и Ляля

смирненно ждала, как послушница в монастыре ждёт назиданий от матери-настоятельницы.

Валентина опять перешла на английский, стараясь произносить все слова отдельно и предельно

отчётливо: Chef-grade cooking doesn't happen naturally... It's hard to make mayonnaise by trial and error... Cordon Bleu sex, as defined here, is exactly the same situation – высокая кулинария по наитию

не получится... Если по-русски: «Сложно приготовить майонез методом проб и ошибок... С сексом

по высшему разряду, как мы его называем здесь, совершенно такая же ситуация». Если бы ты

знала, сколько женщин несчастливы в этом... Посмотри на их лица по утрам в синем московском

троллейбусе. Что ты видишь? Вот то-то! Вот о чём Окуджава не поёт! А я хочу тебе счастья. И в

этом тоже. – Она вдруг изменила тональность голоса, как будто певица, перешедшая в совершенно иной регистр звучания, и сказала тихо и проникновенно: – Знаешь, самое главное, что

я из этой книги сама почерпнула пока? Послушай: Sex is the most important sort of adult play. If you can't relax here you never will. Секс – это самая важная разновидность игр, в которые играют

взрослые. Если ты не в состоянии расслабиться здесь, значит, не расслабишься никогда. Знали бы

это те самые тётки в троллейбусе!

Валентина с облегчением закрыла дверь в спальню, оставляя Лялю наедине с опасной книгой. «Британской музыки небыллицы тревожат сон отроковицы...» Она улыбнулась, вспомнив

портретные изображения автора строк – курчавого шалопая, который, по слухам, испытал те

самые запретные радости секса в соседнем Тригорском – и с матерью, и с дочкой.. Юный шалопай... Что-то в этом было... Особенно для матери. Такой же шалопай и наглец, как этот,

который и подарил ей на прошлой неделе заветную книжку. Да и как подарил! Мысль о том, что

произошло там, в пустой аудитории после окончания занятий, когда все студенты уже разошлись,

затемно, при потушенном свете, до сих пор бросала её в сладкую дрожь. А она на него, признаться, и внимания не обращала. Да и мало ли их, студентов, которым она с разной степенью

успешности втолковывала за все эти годы парадоксальную мысль о том, что завершённое время –

всё-таки настоящее! Даром что всё прошло и быльём поросло, а вот поди ж ты, если что-то было в

прошлом, а говоришь ты об этом сейчас, то и время по формальным признакам настоящее!

Но он был упрям и напорист. Всегда! И тогда, полтора или два года назад, когда занимался

у неё. Брал язык если не талантом, то трудом и напором. Так, как он попытался взять её в прошлую среду. И этот шарф, небрежно обмотанный вокруг воротника-стойки его длинного, до

пят, очень европейского на вид пальто... И кепка – настоящая британская кепка, столь вычурная и

неуместная в московский февральский морозец! Она с удивлением уставилась на него, когда тот

этаким ярким, нездешним петухом нарисовался в проёме двустворчатой двери.

Вначале ей показалось, что это один из ухажёров, ожидающих очередную студентку после конца занятий. Но все юные девы уже исчезли в гулком конце коридора, а он, широко

раскинув руки и ещё шире улыбаясь, устремлялся к ней, с видимым удовольствием восклицая её

имя и отчество.

Валентина, внутренне недоумевая по поводу столь бурных эмоций с его стороны, умело изобразила на лице смесь радости и любопытства. Последовал разговор – оживлённый и бестолковый, с радостным перескакиванием с одной темы на другую, с любопытными подробностями.

Вначале ей показалось, что он слегка пьян – настолько была в нём эта безудержная эйфория. И только исподволь, аккуратно и как бы между делом расспрашивая его о подробностях

и узнав, что он только днём прилетел в Шереметьево, она сообразила, что это вовсе не алкоголь –

это упоение, которое он испытывал от той, нездешней жизни, упоение, которое не мог погасить

мрак крадущегося московского вечера. «Я так и думал, что вы по-прежнему преподаёте здесь по

вечерам – если, конечно, не в заграникомандировке!» – по-детски восторженно восклицал он, и

было видно, что само упоминание такой командировки, даже чужой, доставляет ему какую-то

щепотку радости. Чем дольше длился этот разговор, тем любопытнее становился ей этот парень.

Она теперь вспомнила, что тогда, два года назад, он поедал её глазами на занятиях, а потом, в день выпуска кажется, притащил ей букет сирени. Как его звали? Фазиль?! Ну конечно

Фазиль. «Угораздила меня нелёгкая – всё время выносит на пылких сынов юга!» – внутренне

усмехнулась Валентина.

Впрочем, вид у него был не южный, а вполне себе космополитичный, этакий

среднеевропейский. Он очень поменялся к лучшему – заграникомандировка, да к тому же сразу в

Скандинавию, а не в какую-то богом забытую Дагомею, безусловно, пошла ему на пользу.  
Как  
будто корабль, прежде окрашенный унылым суриком, покрыли блестящей ослепительно-белой  
краской и превратили в океанский лайнер! Он, кажется, и сам это чувствовал: этот новый прилив  
свободы и раскрепощённости, этот яркий огонь в душе среди тусклой московской зимы  
– и болтал  
без умолку, напирая на подробности разговорной английской речи, которые открылись ему за  
время командировки:  
– Я очень хотел привезти вам сувенир в компенсацию за все те мучения, что доставлял вам  
на занятиях.  
– Ну, уж прямо-таки «мучения», – великодушно усмехнулась она. – Вы далеко не самый безнадежный из моих питомцев. В вас есть настойчивость, желание покорить язык – то, что  
американцы называют «драйв». И вы не мямлите, а смело строите фразы, не боясь ошибок. Так  
что у вас хорошая будущность. Я говорю только о языке, конечно, – усмехнулась она несколько  
иронически. – А насчёт сувенира, это напрасно. Не тратьте валюту – поберегите её для своей  
будущей избранницы.  
– Валентина Евгеньевна, вы даже представить себе не можете, как мне приятно было выбирать для вас этот сувенир! – Он продолжал говорить с пылом средневекового идадьго, и этот  
неугасающий энтузиазм стал её внутренне томить. Валентина ещё раз очень внимательно посмотрела ему в лицо и увидела его сияющие глаза. – И когда я увидел эту книгу в Стокгольме на  
книжной полке в магазине, я сразу подумал о вас!  
Он вытащил из-под полы пальто плотный кирпичик, обёрнутый в нездешнюю по виду горчичного цвета бумагу и добавил на английском языке с какой-то загадочной интонацией:  
«Любимой учительнице от её верного ученика». Только не разворачивайте сейчас – пусть это  
будет для вас сюрпризом!»  
Галантно передавая книгу правой рукой, левой он аккуратно взял её кисть с длинными, «фортепианными» пальцами и, церемонно поднося к своим губам, слегка поцеловал их в полупоклоне, отчего сходство с образом идадьго ещё усилилось.  
Она, по-прежнему внутренне томясь и удивляясь чему-то, сказала тоном взрослой светской женщины:  
– Фазиль, вы меня просто сражаете наповал своими европейскими манерами. Вы точно посетили Стокгольм, а не, скажем, Париж или Варшаву? Руки женщинам целуют поляки.  
– Светским женщинам руки будут целовать не только шведы, но даже и немцы, – радостно отозвался он и с проворностью юного пажа ринулся к её пальто, которое свешивалось со спинки  
стула. Роскошным, избыточно широким жестом он распахнул полы её пальто, и Валентина,  
тина,

повинуясь этому жесту и невольно стараясь выглядеть стройнее, чем была за секунду до этого,  
вытянула поочередно руки, движением светской дамы, без усилий попадая в рукава. Он заботливо поправил на ней одеяние и, продолжая это движение, легко, как куклу, повернул к себе.  
Всё произошло быстро, на опережение мыслей и чувств – через мимолётное касание руками её красиво подстриженных волос до нежного, какого-то птичьего касания губ.  
Он без усилий привлек её к себе и стал с мальчишеской страстью целовать её лицо, закрывая поцелуями её глаза и нежно зарываясь ладонями в волосы. Она ошеломлённо молчала, боясь открыть глаза и цепenea от неожиданности происходящего. В мозгу снова замаячил образ юного влюбчивого идальго в непомерно длинном стильном пальто и сеньоры, на тенистой авениде где-то в Гвадалахаре благосклонно внимающей его таким жадным, ненасытным юношеским ласкам. Боясь прервать это волшебство, она больше из чувства долга шепнула ему: «Вы с ума сошли! Что вы делаете?» Он распахнул пальто и прижал Валентину к себе, отчего её груди под свитером напряглись. Она знала, что его нужно бы оттолкнуть. Здравый смысл требовал разыграть негодование, возмущение, может быть, даже дать ему пощёчину. И уж, конечно, решительно вырваться из его объятий... Но какое-то десятое чувство несколько отстранённого любопытства и острое ощущение опасного приключения не давали ей это сделать. И Валентина, вопреки здравому смыслу, прижималась к нему ещё теснее.  
Она боялась открыть глаза, понимая, что тогда эта сумасшедшая магия сразу же кончится, и, как бы глядя на себя и на него со стороны мысленным взором, продолжала шептать ему дежурные фразы: «Это же безумие! Я же замужем! А вы, вы просто мальчишка! А я...» У неё не хватило духу произнести что-нибудь типа «вам в матери гожусь». Он продолжал целовать её, шепча что-то несвязное и при этом называя на вы, отчего она вновь и вновь чувствовала себя донной, сеньорой. Именно это «вы» и эти поцелуи стали возбуждать её не на шутку. Она испугалась своих ощущений и совсем уже решила вырваться, но в этот момент он наконец прильнул к её губам, и ощущения понеслись вскачь, как лошади по обрыву, и она ответила на его долгий, страстный поцелуй, обхватывая двумя руками его голову, отчего его британская клетчатая кепка упала куда-то вниз, в пропасть.  
Она почувствовала, как его рука юркнула к ней под свитер и начала ласкать грудь. Она отвечала на его поцелуи всё более и более страстно. Он легко, снова как куклу, приподнял её с пола и понёс к двери.  
– Куда вы? Перестаньте! – Она наконец оторвалась от его губ, но по-прежнему боялась открыть глаза. Он щёлкнул выключателем и в наступившем полумраке пустой аудитории легко,

без усилий подхватил её двумя руками и стал кружить в каком-то быстром, бесшумном вальсовом

вращении. Перед её открывшимися глазами полетел круговорот теней от предметов, а он кружил

её в этом странном танце и шептал, заглядывая ей в глаза в наступившем полумраке:

– Милая моя! Вам снятся сны? А мне снятся. И в них – вы. – Он наконец поставил её на пол

и заботливо поддержал, потому что комната перед её глазами всё ещё вращалась, как детская

карусель.

Он снова прильнул к ней и шепнул:

– Надеюсь, вам понравится моя книга-подарок. Можно попросить вас о чём-то?

Она потихоньку отходила от сумасшествия, которое охватило всё её существо, и более твёрдым голосом, с большей степенью решимости сказала:

– Наверное, нет. Боюсь, что я не могу дать того, что вам сейчас нужно. То есть я в этом уверена, – торопливо и невпопад добавила она. – Уходите сейчас же, слышите?! Нас могут

увидеть!

Он всё-таки был пьян, хотя она не чувствовала запаха алкоголя. Или это тот самый, запретный западный мир бушевал в нём с такой силой?! Переходя на горячее бормотание идальго-любовника, он прошептал, касаясь губами мочки её уха и переходя вдруг на английский,

как будто пересказывал выученный текст:

– I am asking you for one kiss... Just one... I want to kiss you... there... on your other lips. – Я прошу вас об одном поцелуе... всего лишь одном... Я хочу поцеловать вас... там... в те губы.

Валентина отшатнулась и, вспыхнув, покраснела в полумраке:

– Фазиль! Опомнитесь! – яростным шёпотом воскликнула она. – Вы мне этого не говорили,

а я этого не слышала. Вы поняли? – Она тут же пожалела о своём резком тоне и, стараясь сделать

вид, что ничего не произошло и всё возвращается в обычное, предсказуемое русло, добавила

примирительно в темноту, туда, где она из-за тени не могла разобрать выражение его лица: – Вас

нельзя, кажется, пускать в Европу. И оставлять наедине с женщинами старше вас. И то, и другое

плохо на вас влияет. Мы с вами сегодня расстанемся добрыми друзьями и впредь встречаться не

будем. И эти... это всё останется только между нами. Умоляю, выбросьте это из головы. Хотя, не

скрою, я польщена вашим вниманием.

Он, кажется, утратил запас юношеской наглости и молчал в темноте. И она с внезапно вспыхнувшим женским тщеславием поняла, что оказалась сильнее, чем он. Валентина вдруг

остро, до щемящего сожаления, представила, что он в конце концов обязательно уедет в тот,

другой мир, где можно говорить такие слова на английском языке малознакомым женщинам, и

сюда уже не вернётся. Уедет при первой возможности, потому что никогда не впишется в эти

серые стены этой серой жизни. Он уже отравился тем запретным и таким манящим миром. И он

выдумал её себе – выдумал, как пришлицу из того, свободного и такого опасного мира, и захотел

её именно поэтому. Иначе, зачем он попросил её об этом? Неужели у него женщин не было? Она

вспомнила его ласки и невольно тряхнула в темноте головой. Он через это хочет вырваться из

серости, хочет снова, без виз и разрешений, попасть в то царство иллюзорной свободы, где

женщина способна на сумасшествие. И он каким-то чутьём угадал, что она такая женщина. Знал

бы он, что никогда и ни для кого она этого ещё не делала...

Валентина уже совсем отошла от пережитого шока, но благоразумно решила не включать свет в аудитории. Непринуждённо взяв его за руку, она вывела его, как маленького, в коридор и

сказала голосом классной дамы:

– Вы можете проводить меня до метро. И мы можем поболтать с вами о разной интереснятине из английского языка. Ну, например, как артикль субстантивирует любую часть

речи, то есть превращает её в существительное. Знаете, как в анекдоте про Чапаева: «Белые в лесу

– Не до грибов сейчас, Петька!» Так вот, слово «белые», которым в английском языке будет

предпослан определённый артикль, превращается из прилагательного в существительное.

Он покорно шёл рядом, как нашкодивший ученик, и старался не встречаться с ней взглядом. Кажется, опьянение Стокгольмом выветривалось, и он трезвел на глазах.

Валентина

украдкой взглянула на него, и ей вдруг стало жалко этой порушенной, неосуществлённой сумасшедшей мальчишеской мечты. «Может, надо было?..» – мимолетно мелькнула в голове

мысль, и она тут же с ожесточением отогнала её.

Шарнирные двери вестибюля метро выбрасывали им в лицо потоки тёплого воздуха с запахом просмолённых шпал. Она повернулась к нему, и они впервые после полумрака той

комнаты оказались лицом к лицу.

– Удачи вам во всём, Фазиль, – теплее, чем намеревалась, выдохнула она вполголоса. – Не сердитесь на меня. Всё самое главное у вас впереди. Я благодарна вам за... (она на секунду

запнулась) за ваше внимание. И за книгу-подарок. Хотите американскую мудрость на прощание?

Держите: «Будьте осторожны в своих желаниях, ибо они имеют обыкновение сбываться».

Она

слегка усмехнулась и впорхнула в вестибюль, к турникетам, прежде чем дверь на возвратном

махе успела задеть краешек её пальто.

Она примчалась домой за десять минут до прихода Жоры и, незаметно от дочери юркнув в ванную комнату, привела себя в порядок. Некоторая взвинченность от пережитого, которую не мог не заметить Жора, легко объяснилась позднее вечером, когда они остались одни в спальне, содержанием книжки – книжки, любезно привезённой ей из загранкомандировки её лучшей студенткой, да, да, конечно, лучшей студенткой, а кем же ещё? – которой повезло с выездом в Скандинавию... Валентина целомудренно предложила подождать, пока дочь заснёт у себя в комнате, и Жора нетерпеливо, с всё возрастающим желанием листал те самые безмолвные страницы с картинками, которые, слава богу, надёжно хранили её тайну сегодняшнего дня. Валентина ещё по пути домой предусмотрительно разорвала обёртку на ней и аккуратно заглянула в оглавление, прижимаясь к двери вагона метро и держа книжку около груди, как игрок в покер держит карты, чтобы содержание и, не дай бог, картинки не увидели случайные пассажиры. «Клиторальное наслаждение», «Соблазнение», «Работа ртом для неё» – все эти запретные темы бросались в глаза со страниц книги, и она снова и снова вспоминала прикосновения его губ всего за каких-то тридцать минут до этого, поглядывая то в книгу, то вокруг себя на мрачных, измотанных жизнью пассажиров в однообразной бесцветной одежде, и снова мысленно убеждалась в том, что он, тот, не останется здесь, он точно уедет. А то, что произошло между ними, казалось теперь просто интересным приключением: как будто она, никого не спросив, тайком на каких-то два часа выехала из страны, минуя всех пограничников и все посты, на встречу с глубоко законспирированным агентом, чтобы теперь, вернувшись, с самым невинным видом ехать в этой серой толпе, сохраняя свою важную тайну, известную только им, да ещё этой книге. «Мальчишка, – подумала она и невольно улыбнулась, – мальчишка! Наглый и самоуверенный, как все они!» Помнить будет, не забудет! – как разбитная народная при- сказка, как вытатуированная надпись мелькнула у нее в голове фраза. Валентину вдруг непреодолимо потянуло сказать самой себе какую-то скабрёзность, словесную похабщину, и она пристыдила себя за это, такое нетипичное для неё, желание. Она невольно плотно скрестила ноги в бедрах, от самой промежности, и инстинктивно ухватилась за поручень над головой, чтобы не упасть, пока

поезд метро, стремительно набирая скорость от платформы, вонзался в темноту туннеля.

Глава 6

«Всё это словно сон, сказочный сон...»

– Знаешь, твои розы произвели впечатление. Пришлось отбиваться от расспросов.

Оказывается, родители – самые любопытные люди на свете!

– И что ты им сказала?

– Сказала, что через двадцать лет мы будем летать из Шереметьево на самолётах СА-104, ну или СА-62, и СА – это, конечно, сокращение от фамилии Савченко.

Он посмотрел на неё серьёзно, отчего Ляля сразу почувствовала себя несмышлёной девчонкой.

– Да уж... дай бог нашему теляти волка съесть. По-моему, у меня не та фамилия для самолётов. КБ Туполева – да, это фирма! Не говоря уже о КБ Королёва. А вот КБ

Савченко...

простовато звучит. Чего-то в этом блюде не хватает. Какой-то соли с перцем...

Ляля украдкой поглядывала на него, пока он размышлял вслух. Ирония ситуации была в том, что у неё случился разговор с отцом – и притом на ту же тему – после того, как ей давеча

пришлось изображать невинность перед родителями и объяснять, откуда букет роз и мармелад в

вазочке. Жора, всегда чуткий к потенциальным угрозам своему благополучию, как, впрочем, и к

возможностям его приращения, шутивно, но настойчиво стал выпытывать у Ляли биографические

подробности её нового знакомца:

– Как, говоришь, фамилия твоего Дон Гуана? Савченко? Простонародно, и даже очень.

Впрочем, сейчас это приветствуется, и весьма. На коллегии министерства всё время поднимают

тему воспитания выходцев из рабочей среды, которые бы продолжали традиции ленинской

внешней политики... Да... Династии чужаков-лоялистов, всех этих остзейских немцев и евреев-

выкрестов, как, впрочем, и обрусевших армян (он тонко улыбнулся своей восточной улыбкой),

теснят молодые, охочие до наград и госпремий варвары из внутренних провинций. Он, кстати, не

из Днепропетровска? Сейчас это бы не повредило... Или, скажем, можно вести родословную с

хутора в Малороссии или Белой России, где на всех одна фамилия, она же название самого

хутора... – Жора опять тонко улыбнулся, и Ляля смешливо хмыкнула себе под нос: намёк на

Громыко был более чем прозрачен. – Савченко... Nomen est omen.

Перехватив её непонимающий взгляд, Жора с победными нотками в голосе отчеканил:

«Имя есть знак». Он любил набирать победные очки в интеллектуальном разговоре с собеседником, и Ляля знала за отцом эту извинительную слабость.

– Савченко... – продолжал размышлять вслух Жора, – а почему бы и нет? Были же Илюшин,

Яковлев, Туполев, Миль, Лавочкин, наконец. Последние двое – так вообще, кажется, евреи. Тут в

другом проблема, – Жора невольно покосился на потолок и чуть понизил голос: – у нас, в нашем

Третьем Риме, такая закономерность: раньше, чем станешь римским папой или кардиналом в

синклите, велика вероятность, что тебя, эдакого раннего и, главное, вполне лояльного и преданного христианина, скормят свирепым львам на арене под общие одобрительные возгласы

публики. По крайней мере, Туполева с Королёвым едва не скормили. Слышала о том, что была

такая «туполевская шарашка»? Да и Королёв ведь из особого контингента... Сегодня Герой

Соцтруда и лауреат, а позавчера, если брать повествование в отмеренных сроках, – опять покосился он на потолок, – мог по этапу бесследно уйти в Магадан... Впрочем, смягчение нравов

за последние двадцать лет налицо. Хотя всё мной вышеозначенное сугубо «для служебного

пользования».

Ляля только нетерпеливо пожала плечами в ответ на последнюю ремарку отца: она с самого детства привыкла к тому, что самые интересные темы разговоров с ним неизменно в

конце оказывались «для служебного пользования».

Сейчас Ляля с внешней беззаботностью перевела разговор с Вадимом в шутивное русло, зацепившись за эти «соль и перец»:

– Насчёт соли и перца не знаю, а вот на твой мармелад, представь себе, тоже обратили внимание.

Савченко посмотрел на неё вопросительно:

– Внимание? Какое? Неблагодарное?

– Дровосек, у тебя очень литературная речь для студента-технаря! Нет, не комплексуй, ради бога. Вполне себе благодарное. Просто у меня отец такой, знаешь... непростой. На его работе простых не держат. Мне иногда кажется, что у него звериное чутьё на людей.

Кроме,

может быть, меня, – добавила она лукаво. – Любит он всякие умственные конструкции не меньше,

чем ты. Только у тебя всё замешано на точных науках: угол падения равен углу отражения, ну и

всё такое прочее, а у него – на межличностных отношениях. Он, например, дедуктивным методом

определил, что мой гость, по крайней мере, не армянин и вообще не с Кавказа – иначе притащил

бы виноград, или кишмиш, или какую-нибудь чурчхелу. Но при всём при том он уверен, что ты с

претензиями – иначе не купил бы такие дорогие цветы в разгар зимы. Ты будешь смеяться, но он

сказал, будто даже то, что мармелад ты купил не простой, а в шоколадной глазури, – это тоже

симптом твоих претензий. Ну-ка, признавайся, ты и вправду такой честолюбивый? Тебе, наверное, лавры Генри Форда или Александра Белла покоя не дают?

Савченко держал её маленькую ладонь в своей руке и, как молящийся чётки, машинально

пересчитывал костяшки её пальцев возле фаланг – от указательного до мизинца, организуя тем

самым мысли и одновременно согреваясь каким-то эротическим теплом от её рук. Ему снова

захотелось её – так же сильно, как и полтора часа назад, когда она, опустившись на колени и на

локти рук, расположилась перед ним и он, возвышаясь над ней сзади, видел эти же пальчики с

красивым маникюром. Он усилием воли отогнал от себя этот образ, понимая, что постель уже

заправлена и до прихода её родителей осталось всего ничего.

Лавры? Нужны ли ему лавры? Чёрт его знает! Для него Москва была в первую очередь бегством из провинции. Но вот он убежал и прибежал в этот город патрициев и их жён, дочерей и

наложниц, в город их храмов и бастионов власти и влияния. И оказалось, что убежать из Изотовки

– этого мало.

– Смотря что считать честолюбием, – сказал он полушутя-полусерьёзно, – в идеале, конечно, здорово стоять в одном ряду с Фарадеем, Джоулем, Омом или Теслой – это когда в твою

честь назвали какую-нибудь единицу измерения в системе СИ. Мне это, увы, не грозит.

Правда,

слава Дизеля или Бессемера – это тоже неплохо. Я бы, пожалуй, согласился на то, чтобы моим

именем назвали новую конструкцию авиадвигателя или революционное решение стойки шасси

самолёта. Остановка за малым – сделать это революционное открытие, после чего сразу же

поменять фамилию на более краткую, изменяемую по падежам и менее хохляцкую. Белл, Форд,

Уатт, Ом – заметила, что у всех них краткие фамилии? Проблема русских в том, что у них такие

длинные, неудобоваримые фамилии. Пока выговоришь, интересная мысль, родившаяся в мозгу,

успеет исчезнуть без остатка.

– Тогда мне не на что надеяться! с моей-то фамилией! – воскликнула Ляля с напускным отчаянием.

– Да, фамилии у нас достаточно ординарные. Тебе не кажется, что мы их интеллектуально переросли? Мы сложнее наших фамилий, особенно ты. Не говоря уже о том, что ты не беленькая.

– Он наклонился к её уху и добавил шёпотом: – Нигде. Я проверял.

Ляля мельком взглянула на него и почему-то покраснела.

– Дровосек! Вы, кажется, перебрали по части запретных житейских впечатлений. Не вгоняйте Красную Шапочку в краску.

Савченко тряхнул головой, будто пытаясь отогнать образ того, о чём только что подумал,

и

сказал с нарочитой покладистостью:

– Ладно, не буду. Хотя впечатлений оказалось действительно много. Боюсь, что

неизгладимых. Возвращаясь к фамилиям – они вообще-то много что могут сказать, только их

правильно читать надо.

– Правильно – это как?

Она шутливо загнусавила, имитируя обычные интонации дикторов: «В аэропорту их провожали товарищи Зимянин, Капитонов, Соломенцев, Долгих, Русаков...»

– ...та деякі інші, – подхватил Савченко с какой-то хитрой, жуликоватой улыбкой.

А Ляля впервые подумала: «А ведь он хохол. Вот тебе и раз! Никогда раньше в нём этого не примечала! Что-то в нём такое – от Могилянской – или как там у них? – академии».

– Угадала! – Она вскочила с кресла и, сделав попой какой-то танцевальный пируэт перед его носом, торжественно объявила: «...и некоторые другие!» Правильно?

– Да, их нужно читать вот так, в ряд, через запятую, и тогда у тебя начинают роиться в голове мысли и ассоциации – не всегда, правда, верноподданнические. Меня, кстати, на

это

совершенно случайно натолкнул отец. Он как-то стоял в вестибюле института там, в Изотовке. –

Савченко с усилием подавил желание сказать «там, у нас, в Изотовке». – Просто ждал мою мать,

чтобы проводить до дома после занятий, и, чтобы скоротать время, читал учебное расписание

института с фамилиями преподавателей. А там ряд получался живописный: Чавка, Чвёртка,

Швачко, Перебийнос...

– Слушай, это ведь чистый Гоголь! – захохотала Ляля, – а Довгочхуна там не было?

– Мог быть. И в этом-то и есть вселенская печаль жизни в Изотовке.

– И что же твой отец сказал?

– А вот это самое пикантное! Он вообще большой оригинал, правда, у него сугубо гуманитарное мышление... Посмотрел он на этих Швачко в расписании и выдал фразу,

которая

тянет на афоризм: «Куда делись Шаховские, Волконские и Шереметьевы?»

– Дааа, это сильно! – протянула Ляля. – Вот ты в кого такой необычный!

– Да нет. Не совсем. Он-то гуманный до мозга костей. Вроде тебя. А я в плену точных наук и формул. Хотя, должен сказать, что благодарен ему за то, что научил меня стихи любить.

Просто читать их, повторять эти словесные формулы без причины и без пользы для себя и других.

Исключительно ради удовольствия.

– Знаешь, надо будет у себя в институте почитать расписание по методу твоего отца! А что

ещё можно читать подряд, чтобы появлялись незапланированные ассоциации? Названия магазинов? Или улиц?

– Вот тебе задачка на сообразительность. Постарайся угадать, что за ряд? Наушки, Лужайка, Джульфа, Унгены, Чоп, Брест...

– Да это ведь, кажется, железнодорожные станции! Брест и Чоп – точно! У меня подруга в Будапешт ездила, так они в Чопе из вагона выходили и смотрели, как меняли колёсные пары на

европейскую колею.

– Угадала. А Джульфа вообще двойная станция, советская и иранская... Я с отцом в детстве

часто ходил на вокзал в Изотовке – просто так, от нечего делать. Знаешь, зачем мы ходили?

Посмотреть на пассажирские поезда. Мой отец – заядлый путешественник в душе, правда, из-за

вечного отсутствия денег не пропутешествовал и десятой доли от того, что хотел. А у нас каждые

пятнадцать минут останавливаются кавказские поезда: Адлер, Тбилиси, Ереван, Баку, Махачкала...

И каждый день ходит поезд Москва–Тегеран. Представляешь? Где эта несчастная Изотовка, а где

Тегеран?

– Представляю. То есть представляю, что из Изотовки это непредставимо. А почему ты названия станций-то запомнил?

– Вот в этом, милая Красная Шапочка, и есть сокрытый от простых смертных смысл.

Поезжай на Курский вокзал – впрочем, от тебя ближе Киевский – и почитай расписание движения

поездов со всех вокзалов Москвы за границу.

– И что? – Она никак не могла понять, к чему он клонит.

– А то, что в этом расписании всегда указывается расстояние в километрах до конечной станции, то есть до пункта назначения. Так вот для этих поездов, идущих туда, – расстояние

никогда не указано до пункта назначения – Будапешта или Тегерана, а только до пограничной

станции – Чопа или этой самой таинственной Джульфы. А значит...

– Значит? – подхватила она заинтригованно.

– Значит, что там, дальше, за этой Джульфой советской или Лужайкой, что на границе с Финляндией, – дальше кончается мир, который мы знаем. Это предел нашего познания атома.

Может, там, дальше, в этой Джульфе иранской есть материя, волны, частицы или античастицы, но

нам это неведомо.

– А тебе не хочется там очутиться? Поверь мне, уж я-то была. В Вене, например. Правда, самолётом туда летала и оформляться пришлось четыре месяца. Так что в Чоп не попала.

Но

побывала там – за гранью бытия, как ты говоришь. Там есть всё, о чём ты догадываешься, и даже

больше! Ты разве не мечтаешь там побывать?

– Боюсь, что с моей специальностью километраж пути оборвётся в этой таинственной Джульфе. Странное название, кстати. Напоминает собачью кличку.

– А при чём здесь твоя специальность?

– Понимаешь, самолётостроение у нас военная отрасль. Все лучшие наработки идут туда. Сплошной спецхран и спецдопуск. Я вот на днях с Кавказа в купе с нашими клиентами ехал.

Которые летают на нашей технике. До Вены им не добраться. Боюсь, как и мне. А хотелось бы... А

придётся ехать не дальше ЗаБВО.

– А это что за станция?

– Это не станция. Это специфический юмор моих попутчиков, которые служат в

Забайкальском военном округе, сокращённое название которого они садистски расшифровывают

как «забудь о возвращении обратно».

\*\*\*

Она решила познакомить Вадима с родителями недели через три после возвращения в Москву. Прошедшие каникулы с оранжевым кавказским небом над чёрными горами, с ежедневным бездельем и ленивыми лыжными прогулками плавно откатывались в дальние

запасники памяти, а на их место заступила московская круговерть забот и занятий в институте. А

ещё – любовных ласк, которые он дарил ей каждый вечер, уже не стесняясь ни того сокровенного, что она ему показывала, ни своих прикосновений к её телу там и так, как раньше он не мог и

помыслить. Каждый зимний вечер, который начинался по-московски рано, в полпятого, они будто

сказочные герои, неуловимо ускользали от яркого света прихожей, от кремовых переливов обоев

гостиной через потаённую дверь спальни в волшебный, с каждой минутой сгущающийся полумрак. Они снова и снова становились Дровосеком и Красной Шапочкой и, влекомые неведомой лесной силой, бесшумно рвались друг к другу, срывая с себя одежду, как деревья,

роняющие листья в дремучем осеннем лесу. Одежда, как ненужная листва, разлеталась по

комнате, а они, второпях вспоминая главы книги, снова и снова начинали своё странствие по

тайком открываемому для себя континенту, и в горячке желания бросались от «закусок к десертам» под аккомпанемент лиловых февральских метелей за окном. Снег за стёклами падал

крупным мохнатым пухом, медленно кружась в свете уличного фонаря, свет которого пробивал

белую занавесь и ложился бликами на её лицо, на подушку и на контур её груди в полумраке

спальни. Ляля нарочно оставляла шторы открытыми, и им обоим чудилось, что они одни среди

зимнего вьюжного леса. В широкое окно, казалось, заглядывала волшебная тень лесовика,

застывая в недоумении и молчаливом восторге; и этот призрак, точь-в-точь копия того бородатого

сластолюбца из книги, бесплотно реял над их ложем, пока Вадим, напрягаясь и дрожа от желания

всем телом, покрывал поцелуями её груди, спускаясь всё ниже и ниже к животу, одной рукой

грубо и властно обнимая её за шею, а другой, правой, проникая в разрез её губ и нежно лаская их

до тех пор, пока она не начинала приближаться к оргазму, рыча и извиваясь, как маленькое дикое

животное, стискивая его ладонь своими бёдрами до боли в связках, а потом, внезапно ослабев,

отпускала его ладонь из плена своих крепких ног и, жестом хищника нежно повалив его на спину и

оседлав его, начинала тереться своими раскалёнными губами об его грудь, соскальзывая дальше,

как будто танцую диковинный ритуальный танец лесного зверя, пока не упиралась в его мужское

естество – для того, чтобы приподняться и с размаха вскочить на него, как в седло.

Им всякий раз было досадно, что приходится отложить в сторону эту сказочную книгу, захлопнуть её грешные страницы на самом интересном месте, и призрак-лесовик, как чудилось

Ляле, разочарованно всплеснув несуразно длинными руками, таял в снежной круговерти за

окном, пока они с Вадимом второпях заправляли постель, воровски пробирались в ванную и

лихорадочно смывали с тела улики только что бушевавшей страсти, пользуясь одним полотенцем

на двоих, чтобы не вызвать подозрений родителей.

Ляля мысленно проклинала эту вынужденную конспирацию, которая краля у неё полчаса от каждой встречи, и с решимостью женщины, которую не на шутку обуяла страсть, решила

легализовать его присутствие у себя дома, познакомив отца со своим первым молодым человеком:

– Ара, что ты больше любишь – летать на самолёте или ездить на поезде? – весело и без нажима спросила она у отца за ужином.

Вопрос был из числа риторических – Жора не ездил в поездах со времён расцвета волюнтаризма, за исключением редких вылазок в Питер.

Он с хитрецей внимательно посмотрел на Лялю и ответил ей в тон:

– Поездом безопаснее, но, увы, уныло. И не потому, что медленно и долго, хотя и это верно. Ездить поездами было «комильфо» во времена Витте; при регентстве министра путей

сообщения Бещева поезда, как мне кажется, стали уделом пассажиров, которые проиграли в

схватке с жизнью. Те же, кто всё ещё надеется победить, должны летать самолётами вопреки всем

опасностям. Тем более мужчины. Благо, стюардессы привлекательнее проводниц и на международных рейсах подают вино и коньяк, а не чай в подстаканниках. И самолёты летают в

Париж, а поезда по большей части идут куда-нибудь в Нижний Тагил. Несопоставимые величины.

Но мне кажется, в твоём вопросе кроется загадка. Причём сопряжённая с мужчиной. Если ты

хочешь спросить моего совета, за кого выходить замуж – за Витте или за Бещева, мой совет:

однозначно Витте. Трудолюбие сопоставимо, а порода и манеры лучше. Погоди, но ведь твой

знакомый, кажется, из небесной сферы – будущий авиаконструктор? Так что разговор о поездах

лишнее? Или у тебя многочисленные поклонники, избравшие в качестве поприща разные виды

транспорта?

– Какие там многие поклонники! – отмахнулась Ляля. – Я о нём и говорю, о Вадиме, с которым познакомилась в Чегете. И при чём тут замужество? Я просто пытаюсь понять, о чём ты с

ним будешь говорить – о поездах или о самолётах, если я рискну вас познакомить? Он, несмотря

на будущую специальность, в основном железнодорожный пассажир. Даже знает о существовании двух идентичных станций в Азербайджане по обе стороны границы – Джульфа

советская и Джульфа иранская.

– Говорить я с ним буду о том, что ему интересно, это непреложное правило дипломата. Но постараюсь получать ту информацию, которая интересна мне.

– Хотела бы я знать, что ты извлечёшь из его сентенций! Ну, например, что такое советская

власть?

– А вы и такие темы обсуждаете? – Жора видимо напрягся.

– Да нет, ара, не беспокойся. Сейчас ты получишь его ответ на этот вопрос – и сам поймёшь, как движется мысль этого человека. Итак, готов? Ну вот, советская власть – это социализм минус электрификация всей страны! – торжествующе провозгласила Ляля. Жора, опешив на секунду, расхохотался вместе с дочкой:

– Да, метко, чёрт возьми! Поделом Ильичу с его упрощениями! Достаточно перевести любой член уравнения в другую его часть с отрицательным знаком – и уже смешно. Напо-

минает

анекдот от армянского радио. Самое главное, чтобы он на выездной комиссии что-нибудь подобное не сказанул.

– С выездом у него могут быть проблемы, – неохотно бросила Ляля, потому что примерно знала, куда теперь повернётся их разговор.

– А что, анкета не в порядке? – Жора опять, как и минуту назад, заметно насторожился.

– Ара, ну откуда я знаю, какая у него анкета?! Я с ним вообще всего раз пять встречалась, –

легко соврала она, – не думаю, что у него пятый пункт. И родственников за границей нет – он ведь

из Изотовки, а не из Таллина. Или Джульфы иранской, – лукаво добавила она.

– Так, а в чём тогда загвоздка? – не отставал Жора.

– В его специальности – «конструктор летательных аппаратов». Секретность там всякая, допуски.

– Да, это всегда бодяга... – раздумчиво протянул Жора. – Он сейчас на каком курсе? На четвёртом? А всю эту секретность когда оформляют?

Ляля нетерпеливо пожала плечами:

– На пятом, кажется. Говорил, что его курсовую за четвёртый курс засчитали как диплом. Так что в институте ему уже особенно нечего делать. Просто ждёт выпуска, а пока что-то изобретает мудрёное.

– Знаешь, пригласи-ка к нам в гости твоего конструктора. Он не застенчивый? Компании не

дичится?

– Нет, он вполне себе социализирован. Только с девушками робеет, – опять легко соврала она, про себя удивившись, насколько эта ложь близка к истине.

Жора широко улыбнулся и сказал с наигранным вздохом облегчения:

– Слава богу, гора с плеч! Обойдёмся без Дон Гуанов. Это во мне корни разыграли. «Что за

комиссия, Создатель, быть взрослой дочери отцом!» – продекламировал он с виноватой улыбкой.

– Но насчёт секретности надо уточнить, и не откладывая, – добавил он, становясь вполне серьёзным, – я сам наведу справки через наших кадровиков. Сословность, черт её подери – всё

возвращается на круги своя! Как до семнадцатого года: из мещан, из дворян, из купцов. И знаете,

– он обращался уже и к Валентине, и к дочери, – с каждым годом, по-моему, эти ветры крепчать

будут. Секретность, «почтовые ящики» – их сейчас как грибов после дождя. Попадёшь туда –

обратной дороги нет. В Болгарию по турпутёвке не выпустят до смерти. А если не секретность – то

пятый пункт заедает. Причём, не только детей Сиона. Что-то не видно в последнее время притока

туркестанцев или кавказцев в номенклатуру. Не говоря уже о прибалтах. Сегодня с генштабистами

встречался – к визиту Никсона готовят информацию по стратегическому оружию. Рассказали

армейский анекдот: «Может ли сын полковника стать полковником? Ответ – конечно может. А

может ли он стать генералом? Конечно нет, ведь у генерала есть свой собственный сын».

Вот так и живём. Да и у нас в МИДе то же самое – по крайней мере, если брать номенклатуру по странам так называемого «первого мира». Чувство хорошего тона, а пуще того –

дипломатическая сдержанность не позволили мне ответить генштабистам нашей мидовской

остротой. Помните цитату из Островского? Того, который Павка Корчагин? Про жизнь: «Она даётся

человеку один раз...»

Жора замолк, жена и дочь, как по команде, вопросительно посмотрели на него. Жора, тонко улыбаясь своей восточной улыбкой, проворковал вполголоса:

– Меняем одну-единственную букву, и... вуаля! Как меняется смысл! Итак, жизнь даётся человеку один раз, и нужно прожить её там, чтобы не было мучительно больно за бесцельно

прожитые годы... Далее – по тексту! Так что приглашай сюда своего авиаконструктора – предмет и

дум, и грёз, этсетера... – завершил он вполне серьёзно.

– Но, ара, у меня никаких серьёзных намерений нет! – Ляля говорила всё убедительнее.

Постельные утехы – дальше этого её планы пока не шли, а легализация его визитов к ним домой

была только что достигнута.

Жора проницательно посмотрел на дочь:

– А если они появятся? Так что зови на выходной, когда мы оба с матерью дома.

Глава 7

«Любовь и честь... на этом свете есть»

Чем ближе она оказывалась, та назначенная пятница, тем больше Ляля нервничала, хотя видимой причины не имелось. Ей вдруг стало казаться, что идея познакомить его с родителями –

даром что она сама её и выносила – или безумна, или как минимум не ко времени. А может, она

впервые посмотрела на себя и, что ещё существеннее, на своих родителей со стороны, как бы его

взором?

Конечно, это было совсем не то, что раньше, когда она девчонкой, забравшись с ногами в отцовское кресло, обитое мягкой бордовой кожей, разглядывала семейный альбом с фотографиями. Ляле всегда нравилось трогать эти снимки, сделанные на плотной, матовой

фотобумаге («Бромпортрет», кажется?) – да к тому же крупного формата, так что один снимок

занимал целиком площадь всего альбомного листа; Жора не признавал сиротский размер 9х12,

победительно заявляя, что экономить можно на всём, кроме материальной памяти о былой

жизни. На тех фотографиях отец неизменно хранил умное, с восточной хитринкой выражение

лица, а мать всегда улыбалась лёгкой, как бы вполсилы улыбкой – и Ляле всё время чудилось, что

фотокарточку слишком рано извлекли из проявителя и что, подержи неведомый лаборант бумагу

в растворе проявителя чуть дольше, – улыбка на лице Валентины получилась бы шире, теплее и

душевнее. Но жизнь, этот странный уличный фотограф, снова и снова слишком скоро вынимала

этот незавершённый, полупроявленный образ её матери из ванночки с прозрачной жидкостью,

резко отдающей химикатами, и Ляля, в который раз досадливо передёрнув плечами, торопилась

оторваться от этого несовершенного лика и с удовольствием впивалась глазами в другие снимки,

где сама она, хохоча во весь рот, ещё дошкольницей, с длинными чёрными волосами, восседала

на шее у отца.

Повзрослев, она даже изобрела для себя рабочую метафору того, что стояло за фотографическим образом каждого из них. Мать – это всегда символ туманного росистого утра,

прохладно-спокойного и как бы томящегося в ожидании восхода с востока яркого, жаркого

солнца. Отец, напротив, образ прошедшего, но ещё не завершённого дня, исполненного сознанием всего, что успело случиться – летний тёплый луг на закате, излучина широкой, уважаемой, уверенной в своём течении реки, быть может заслужившей даже упоминания

на страницах школьного учебника по истории в связи с древними битвами или прочими пертурбациями в жизни человечества. И, наконец, она сама, Ляля, как жаркий, знойный полдень с

громким пением птиц в ослепительной вышине безоблачного летнего неба.

А теперь, по мере приближения встречи в пятницу, она всё больше ощущала какую-то

необъяснимую неловкость при мысли, что он увидит другую, неявную сторону её жизни.

Ляле  
вдруг захотелось спрятать своих родителей подальше от его взора, или, по крайней мере, как-то извинительно отшутиться перед ним за то, что они такие – совсем на него непохожие и, скорее всего, даже в чем-то нелепые, учитывая его странную, не от мира сего, оптику. Может быть, она стала смотреть на себя и свою семью отстранённо, его глазами? Как смотришь на свою детскую комнату, куда возвращаешься перед первым сентября после долгого трёхмесячного странствия по морским курортам и санаториям, когда всё в комнате тебе кажется и мило-знакомым, и одновременно глупым.

«Я что, стала совсем похожа на него?» Сон не шёл именно из-за тянущего душу беспокойства и необъяснимой неловкости, и Ляля внимательно, немигающим взглядом смотрела на потолок спальни, будто рассчитывая найти там ответ. «Может, я чересчур с ним сблизилась? И начинаю думать и смотреть на мир так же, как он? Говорят, что супруги, долго прожив друг с другом, становятся даже внешне похожи. Может, в силу физиологии? Обмен гормонами, всякими там эпителиями слизистой оболочки? Проникновение друг в друга? Проникновение... да уж... Глубже не бывает. Особенно после сегодняшнего...» Они дошли до очередного «блюда» в заветной книге – что-то этакое «африканское». Недаром называется «а ля негресс». Ляля вспомнила, как сегодня, прежде чем повести Вадима в спальню, она заставила его закрыть глаза и, быстро раздевшись и стараясь не шуметь, надела на лицо устрашающую маску с ядовитыми тропическими мазками красок – сувенир, который отцу привёз сослуживец то ли с Мадагаскара, то ли из Боливии. Она, наверное, выглядела очень загадочно в этой маске. Загадочно и раскрепощённо. Вот так, закрыв лицо маской и раздевшись догола, можно было бы бегать по джунглям, совершенно ничего и никого не стесняясь. Будто Ева в Эдемском саду до своего грехопадения.

Африканцы в джунглях, никогда не видевшие белых людей, воспринимали бы её как живое божество. Главное не снимать маску! Ни за что не снимать маску! И тогда то, что происходит с твоим телом, то, что он со мной сегодня сделал, – кстати, здесь, на этой самой постели, – всё это как бы не со мной. Но одно несомненно: божеством, единственным и главным, во всех этих играх, начиная отсюда, с турбазы, всегда и во всём была она. Ей нравилось командовать им, и у неё это здорово получалось!

Погрузившись в неё с тем стоном-всхрипом, который она слышала за спиной, теперь он,

оказывается, проник и в её сознание!

Всё ещё глядя вверх перед собой, туда, где угадывался потолок, она вспомнила, как на днях, подкальзываясь в сапогах на укатанном до блеска снежном тротуаре и торопясь на маршрутку возле универмага «Москва», она смешалась на минуту с толпой приезжих, выскакивающих из двух или трёх «Икарусов» с тульскими или калужскими номерами.

Что-то тогда

она ощутила, какую-то несуразность. Так чувствует себя в предбаннике среди десятков голых или

полуодетых тел новичок, только что ввалившийся туда в зимней одежде из морозного тамбура.

Сейчас, размышляя об этом в темноте, она остро ощутила, что вот это, эти «гости столицы», как их

без тени иронии, на полном серьёзе именовали в «Вечёрке» и на втором московском канале,

покорно разглядывающие Кремль и Мавзолей, а затем ожесточённо штурмующие ГУМ, ЦУМ и

Военторг, которые Ляля терпеть не могла за их многолюдье и убогость, – это ведь, пожалуй, и есть

тот мир Изотовки, из которого, как пловец из скользких и противно-мохнатых водорослей, плюясь

и отчаянно отряхиваясь, пытался выбраться этот странный егерь все эти годы. И, выбравшись из

трясины провинции с её тётками в мохеровых бесформенных шапках и мужиками в куртках из

дешёвого кожзаменителя, что он увидел? И что он увидит в эту пятницу, когда встретится с её

родителями? «В зеркале двух миров», как постулирует рубрика в газете «Правда». Вот и она,

случайно приручив этого чудака, невольно заглянула в это зеркало двух таких разных миров –

Москвы и этой всесоюзной Изотовки. Ей стало неловко за свою большую квартиру; за то, что в ней

есть не просто телефон, а даже два на одной линии, один из которых, в кабинете отца, стилизован

под антикварный аппарат; за те дорогие розы, на которые Вадим потратился в первый визит.

«Надо будет сказать ему, чтобы не тратил деньги на цветы, – подумала она почти панически. – А

то он, пожалуй, живёт по принципу Ломоносова: в день на денежку хлеба и на денежку квасу».

Нет, он, конечно, наотрез отказался обуздать свои амбиции и сэкономить на цветах и подарках, когда Ляля осторожно завела с ним об этом речь в четверг, накануне визита.

– Ты лучше скажи мне, что подарить твоему отцу? Что он ценит?

– Книги, пожалуй. Только учти: у него почти всё есть. То есть все книги, которые, по его мнению, имеют художественную ценность.

– Понятно. А мемуары Жукова у него есть?

– Да, наверняка. Он и мне давал их читать, когда я готовилась к экзамену по истории.

Он всё же умудрился удивить и её, и ещё больше Жору. Явившись на следующий день

ровно в пять, как и было оговорено при приглашении, Савченко с порога вручил Валентине

Евгеньевне роскошный букет, поцеловав ей руку, чем немало её смутил. Для Жоры ради церемониала знакомства у него оказалась припасена небольшая книжка стихов Мандельштама в

мягкой обложке, изданная в ГДР, где немецкий перевод зеркально отражал текст оригинала.

– Благодарность от однокашника из Берлина за помощь в овладении и русским языком, и точными науками, – лаконично, но с достоинством объяснил происхождение книги

Вадим. – Я

сделал себе ротапринтную копию в чертёжном бюро, – поспешил добавить он, предваряя возможные протесты со стороны хозяина дома, – буду рад, если у вас будет оригинал.

Ляля

сказала, что вы большой любитель книг.

Может, благодаря подарку, который пришёлся ему по душе, а может, в силу манеры гостя – ненатуральной вежливости в сочетании с какой-то внутренней сосредоточенностью –

Жора

проникся уважительным, а не протокольным интересом к Савченко. Он мягко, но настойчиво

выяснил отчество гостя и, вопреки неуверенным протестам последнего, далее до конца вечера

именовал его не иначе, как Вадим Борисович.

Именно это церемонное обращение, как ни странно, и заставило Савченко потерять сосредоточенность и ощутить себя зелёным первокурсником, впервые попавшим в компанию

доцентов.

– Отчество вовсе не обязательно, по крайней мере в моём возрасте, – несколько сбивчиво сказал он, когда Жора церемонно обратился к нему с вопросом, что бы гость хотел выпить.

– Позвольте с вами решительно не согласиться, Вадим Борисович, – дружелюбно, но веско

сказал Жора, и Вадим кожей ощутил, что сидящий перед ним человек в стильной рубашке с по-

домашнему открытым воротом не только умеет, но и привык управлять десятками людей и

навязывать им свою волю. – Я по происхождению армянин, у нас отчество не в ходу, но вырос я в

русской культуре и, знаете, научился ценить это замечательное качество русских – при обращении

к человеку как бы автоматически называть не только его имя, но заодно и имя его отца.

Есть в

этом какая-то изюминка, какая-то дань уважения предкам. И в армянскую культуру, по крайней

мере здесь, в Москве, это проникло. Ашот, Тигран – эта фамильярность хороша для базара, для

торговцев кинзой. А вот Ашот Тигранович – это уже мини-история рода. Или вы не согласны?

– Отец, не загоняй молодого человека в угол своей риторикой, – встряла в разговор

Валентина, – лучше налей ему и себе вина. Ты открытую бутылку в руке уже минуту держишь. Ещё

немного, и Вадим... – она сделала крошечную паузу, – Борисович подумает, что ты родом не из

Армении, а из Голландии: это там скупо угощают гостей и тут же уносят поднос с едой и напитками прочь.

Ляля досадливо оглянулась на мать. Та вообще раздражала её в этот вечер, особенно своим модным, недавно купленным брючным костюмом, который очень её молодил. Она вдруг

вспомнила, что просила у Валентины этот костюм на один раз – сходить на вечер в институт, а та

отказала.

В выборе вина таился подвох – Савченко не знал точно, какое именно вино подаётся к какому блюду, поэтому он сыграл наверняка, сказав, что будет пить то же, что и Ляля.

Что же до

темы разговора, он решил удивить хозяина дома парадоксом:

– Согласен с тем, что отчество – дань уважения отцу. Или подчёркивание иерархии отношений – отсылка к авторитету родителя. Но когда человек самореализуется и доби-

вается

чего-то в жизни, когда его имя на слуху, использование отчества становится странным.

Мне

кажется, есть люди, которым вообще отчество противопоказано.

Жора с интересом слушал этот монолог юного пришельца, который ниоткуда вдруг появился в жизни его дочери.

– Например? – мягко, но с прежними нотками непоколебимого авторитета подтолкнул он мысль собеседника.

– Например? – Савченко, ничуть не смущённый вопросом, повторил его вслух, как бы разгоняясь перед прыжком: – Например, артисты, спортсмены, космонавты, поэты. Эду-

ард

Стрельцов, Леонид Утёсов, Юрий Гагарин, Сергей Есенин... Было бы странно именовать

их с

отчествами. Они самодостаточны сами по себе.

– Ну, а из политиков кто? – Жора испытующе посмотрел на Савченко. – Я имею в виду наших политиков. Ричарда Никсона или Жоржа Помпиду просьба не называть.

Савченко задумался на секунду. Его ответ озадачил Жору и даже заставил насторожиться:

– Анастас Микоян. Или Лев Троцкий.

– Вот как! Я думал, вы назовёте другие имена, – дипломатично заметил Жора, – впрочем, согласен. Оба из названных вами персонажей несомненно политики – этого у них не отнять. Хотя

судьбы у них очень разные... – Жора усмехнулся своей восточной улыбкой, в которой органично

переплелись хитрость и грусть.

Валентина, которую после неожиданного ответа Савченко наряду с удивлением обуяла и сугубо женская осторожность, поспешила снова вклиниться в разговор, чтобы перевести

его в

более безопасное русло:

– Тайм-аут в дискуссии. Хозяин дома, за тобой первый тост. А то у меня пельмени почти готовы.

Валентине очень хотелось в этот вечер соединить воедино армянскую и русскую кухни. Но, чтобы не повторять одни и те же ингредиенты в разных блюдах, она нашла разумный компромисс: на закуску приготовила постную долму с начинкой из овощей.

– Да, тост давно назрел, – охотно согласился Жора. – Тост очевидный, что не делает его менее искренним: За молодое поколение в вашем лице и за то, чтобы в будущем вы оба добились такой известности, которая избавит от необходимости использовать отчества. Через некоторое время после тоста, где-то между постной долмой и пельменями, убедившись, что мужчины утолили голод, Валентина умудрилась снова разозлить Лялю, когда

бесцеремонно спросила Вадима, знает ли он, что похож на Сергея Есенина.

– Мама! – не сдержалась Ляля, – ему, наверное, тысячу раз этот вопрос задавали. Теперь и ты туда же.

– Нет, почему же? – Савченко беспечно махнул рукой, как будто говорил о несущественной мелочи. – Вопрос, несомненно, звучал и раньше, но, конечно, не тысячу раз. Мне пришлось заготовить на него стандартный ответ.

– И этот стандартный ответ? – полувопросительно-полуутвердительно с учительской интонацией произнесла Валентина.

– Предпочёл бы поменять внешность Есенина на облик Евтушенко при обмене квалификации Евтушенко на талант Есенина, – без запинки выдал он заготовленную формулу.

Жора, мастерски ведущий разговор за столом таким образом, что легкомысленная церемонность перемежалась с зондирующими вопросами, ухватился за подвернувшуюся стихотворную тему, чтобы исподволь выяснить, как сочетается желание быть альтер-эго Есенина с обучением в МАИ и чем молодой авиаконструктор хотел бы заниматься после распределения.

Пока Савченко добросовестно и подробно, словно третий закон Ньютона, объяснял специфику распределения в многочисленные «почтовые ящики», одно описание которых подразумевало статус «невъездного», Жора, профессионально изображающий участливое внимание, перебирал в уме возможные варианты трудоустройства в экспортные заграничные учреждения, при которых можно было бы совместить весьма специфическую квалификацию этого русича (если, конечно, у Ляли появятся по отношению к нему серьёзные намерения) с долгосрочной заграничной командировкой – в Ливию, Индию или, на худой конец, в недавно создавшийся Бангладеш.

– Странно, что с вашим складом ума вам нравятся стихи, – вклинившись в ближайшую паузу, сказал Жора. По формальным признакам эта ремарка не тянула на вопрос, но, несомненно, подразумевала ответ. Жора частенько использовал такие словесные удочки-«закидушки», чтобы разговорить собеседника на интересующую его тему. Приём сработал безотказно и на сей раз:

Вадим посчитал необходимым не только сослаться на своего отца, который привил ему любовь к стихам, но и стал, сам того не замечая, погружаться в пучину уточняющей терминологии: – Нравятся – не совсем точное определение, пожалуй. Мне интересны стихи как плод размышлений или умственных мучений поэта, как главы в его собственной судьбе. – То есть это может быть вовсе и не поэзия? – подсказал Жора. – «Преступление и наказание» – чем не плод мучений? – Нет-нет! – воскликнул Савченко. – Проза – совсем другое дело. Проза – это как полиэтилен, это бесконечное повторение одной и той же молекулярной решётки. Полиэтилен, то бишь роман, к примеру, Гончарова или Тургенева никогда не кончается. Герои в нём могут жениться или умирать, разбогатеть или разориться, но повествование длится бесконечно, как лента полиэтилена на конвейере. Все эти описания дуба у Толстого, облаков над Аустерлицем, потёртых сюртуков на героях... Этому нет конца, это можно длить до бесконечности. В математике тоже это есть – существует такая дробь в периоде. Поделите десять на три – и вы получите такой математический полиэтилен-прозу – три и три в периоде. И к тому же в прозе низкая плотность мысли. А поэзия – это скорее математическое уравнение, и очень насыщенное если не мыслью, то хотя бы эмоциями. Например, «Жди меня» Симонова. Что здорово, в каждом стихотворении, даже не самом талантливом, есть стержень, какой-то магнитный сердечник – индуктор, через который идут электромагнитные токи, наконец, попросту какая-то законченность. Оно компактно, оно, слава богу, всегда заканчивается, и разные его части согласованы друг с другом рифмой. – Вы меня испугали и запутали, Вадим Борисович, – с хитринкой сказал Жора. – Испугали потому, что я с математикой и физикой не в ладу, подозреваю, что и моя дочь тоже. На такие глубины абстракции гуманитарии, увы, не посягают. А запутали, потому что я так и не понял, что вас больше привлекает – стихотворение как форма, как изящное уравнение, с которым вы его только что изволили сравнить, или всё-таки автор одного с его изломами души или, не дай бог, даже некоторым негодяйством. Жора невольно стал стилизовать свою речь под манеру девятнадцатого века, чтобы удержаться на одной интеллектуальной высоте с этим странным выскочкой из народных глубин. Может быть, его подзуживало к этому молчаливое восхищение Ляли, которая, отхлебнув вина

чуть больше, чем диктовали правила приличия, теперь с безмолвным интересом, даже не пытаясь

стать участницей разговора, следила за словесным турниром двух мужчин, каждый из которых

был по-своему ей близок. Даже мать в брючном костюме юной модницы, с интересом глазевшая

на гостя, перестала её раздражать.

– И то и другое, – подумав какую-то секунду, ответил Савченко.

– Примеры, Вадим Борисович! – Жора тоже завёлся, хотя и не подавал виду. Ему захотелось выиграть этот гладиаторский турнир интеллектов на виду у жены и дочери.

– Примеры найдутся, и очень интересные, – с упрямством студента, доказывающего хорошо выученную теорему чересчур въедливому профессору, ответил Савченко. – Скажем,

«Гренада» Михаила Светлова. Я читал, что он хотел написать что-то сентиментальное, мелодраматическое – этакую балладу, цыганщину на испанский манер. А получилась трагедия.

– Трагедия? В чём? Погибает главный герой? – Жора, интуитивно угадывая свою роль умудрённого годами ментора-резонёра на этом пиршестве словес, попытался вывести своего

оппонента на заданный ответ.

– В том-то и дело, что нет! – воскликнул Савченко излишне громко, на секунду забыв о том, что он в гостях. – Трагедия у самого Светлова, – добавил он значительно тише. –

К кому

обращены вот эти строчки: «Не надо, ребята, о песне тужить... Не надо, ребята, не надо, друзья...»

Это же заклинание! – Савченко опять невольно с горячностью повысил голос. – Он словно

пытается доказать себе что-то, во что сам не верит, обращаясь якобы к «ребятам». При этом и сам

в свои заклинания мало верит – иначе зачем их повторять снова и снова?

– Но, может быть, в этом и смысл? Наша жизнь вообще состоит из заклинаний...

Жора хитро улыбнулся той особой улыбкой авгура, которую он обычно приберегал для западных партнёров по переговорам, когда, исчерпав резоны и аргументы и давая понять своему

визави, что пространства для манёвра не осталось, он прибегал к спасительной словесной ссылке

на «ленинские принципы советской дипломатии». Британцы и французы при этом отвечали

всепонимающей (Жора про себя называл её «порнографической») улыбкой, а немцы и американцы начинали кипятились, не в силах принять того, что против идеологического лома нет

приёма, и тема разговора с советским дипломатом, собственно, исчерпана. Савченко то ли по

молодости, то ли в силу идеологической девственности, конечно, не уловил скрытого сарказма.

– Смотри что призывать заклинаниями! – убеждённо проговорил он, и Жоре стало немного

стыдно за свой цинизм.

– Заклинание «Жди меня, и я вернусь, всем смертям назло!» это одно! А если у хлопца

проснулась испанская грусть и он призывает смерть, как в гипнозе: «Но мы ещё дойдём до Ганга, но мы ещё падём в боях, чтоб от Японии до Англии сияла Родина моя», – то кому адресовано

заклинание? Тому, кто шепчет под пулями «жди меня»?

Валентина, которая с повадкой вышколенного официанта подкладывала спорщикам долму, снова насторожилась. Гость, в своём математическом неведении, подошёл слишком

близко к опасным рубежам, за которыми гуманитарные вопросы становились политическими.

– На правах хозяйки стола объявляю следующий тайм-аут! – заявила она твёрдо. –

Уважаемые любители поэзии и нелюбители заклинаний, вернитесь мысленно с берегов Ганга за

этот стол и давайте перейдём от армянского блюда к вполне русскому. Отведайте домашних

пельменей.

Она выразительно посмотрела на Лялю, и та с избыточной суетой стала угощать Вадима. Валентина, с женской осторожностью уходя от скользкой темы гражданственности в поэзии, нежно проворковала:

– Вам, кажется, понравились пельмени, Вадим?

Савченко по-светски, но вполне искренне признался в любви к сибирским пельменям, присовокупив, что его бабушка родом из Новосибирска.

Жора, доброжелательно и с обострённым интересом поглядывая на гостя, веско сказал:

– Теперь я понимаю, почему этот студент из ГДР сделал вам именно такой подарок.

Удивительно, правда, что наши друзья из первого государства рабочих и крестьян на немецкой

земле (он снова, как и при слове «заклинания», улыбнулся) делают такой неочевидный выбор,

публикуя поэта непростой судьбы. Может быть, Хонеккер большой любитель поэзии, чем покойный Ульбрихт.

Он снова улыбнулся, и до Савченко наконец дошло, что в ремарке есть свой сокровенный и чужим недоступный смысл. Он почувствовал, что невольно прикоснулся к чему-то неосязаемому, что носится в московском воздухе, не оседая на страницах газет, но материализуется в таких вот домах, каких в Изготовке нет и не предвидится, – где явственно

присутствие вольтовой дуги власти и где имя Ульбрихта звучит как имя близкого родственника.

Он вспомнил скромные, но весёлые застолья в малогабаритной «хрущёвке», на которые собирались коллеги матери...

– Но, может быть, вы слишком пристрастны к поэтам, то есть к их собственным человеческим слабостям, порокам, наконец? – Жора опять не удержался от того, чтобы исподволь

задать вопрос, ответ на который мог бы поглотить весь остаток вечера. – Пушкин, скажем, был

азартный картёжник и наделал кучу долгов. Да и сам он писал что-то этакое:

О люди! все похожи вы

На прародительницу Эву:

Что вам дано, то не влечёт;

Вас непрестанно змий зовёт

К себе, к таинственному древу;

Запретный плод вам подавай,  
А без того вам рай не рай.  
Цитирую фрагментами по памяти. Согласитесь со мной, – продолжил Жора весело, – и  
мы закончим диспут о поэзии.  
Савченко молчал несколько секунд, будто вслушиваясь в отголосок последнего музыкального аккорда, но Ляля, на которую под воздействием выпитого снова снизошло какое-то  
алкогольное озарение, кожей ощутила, что он, по своему обыкновению, собирается с мыслями,  
будто разгоняясь с высокой горки: «Да, я стала слишком хорошо его ощущать, даже без слов.  
Проникновение, согласование гормонов», – опять пронеслось у неё в голове, и она сама испугалась, как бы не выдать свою сокровенную тайну мимикой или нечаянным выражением  
глаз.  
– Я готов простить любому поэту его минутную ничтожность или мелочность, особенно если в основе её безденежье. – Он вдруг вспомнил холодный люминесцентный свет ламп  
в пустынном спортзале. – Но мне неуютно, когда поэт жизнь – особенно не свою, а чужую, – насильно превращает в теорему, у которой обязательно есть доказательство, и причём только  
одно! Поэзия не подразумевает доказательство теоремы, в лучшем случае она пытается её  
сформулировать – для этого есть математика. Не дай бог поэту вообразить и увериться в том, что  
любая гипотенуза короче двух катетов! В математике это просто – цифрам не больно!  
А в жизни поэзия – это и есть жизнь чувств – гипотенуза сплошь и рядом длиннее двух катетов или хотя бы  
равна им. Или стремится быть равной им. А если одному катету хочется стать гипотенузой, а  
другому всё равно? В жизни и у катетов, и у гипотенузы есть душа – вот о ней поэты и должны  
писать.  
Пока Савченко поглощал вторую порциюпельменей, стараясь не торопиться и ловя на себе ироничные взгляды Ляли, не забывшей его тайных фобий провинциала в том, сколько  
подобаает есть в гостях, Валентина бесшумно принесла вазу с эклерами, которые всегда были её  
коньком, беспроигрышным вариантом в любом застолье:  
– Если вы когда-нибудь устанете от точных наук, у вас всегда есть в запасе поприще литературного критика, – с какими-то новыми, не очень знакомыми Ляле интонациями  
в голосе проворковала она. – Вас не будут любить поэты по двум причинам: во-первых, вы одним своим  
видом будете напоминать им Есенина, а это уже живой укор. (Ляля с трудом удержалась от  
от

уязвлённой гримасы при этих словах.) А во-вторых, вам всегда будет что им сказать. И я не

уверена, что они найдут что ответить. Но пока вы не избрали такое беспокойное поприще, давайте

поднимем бокалы – при условии, что наш хозяин снова наполнит их, – за разность гипотенуз и

катетов в нашей жизни. За то, чтобы у нас всегда были варианты. У вас ведь, Вадим, распределение не за горами. Пусть вам сопутствует удача.

– Значит, вы стоите на пороге вполне взрослой жизни, Вадим Борисович, – легко, гораздо легче и беззаботнее, чем он только что говорил о стихах, – бросил Жора как бы вскользь, покачивая лёгкими круговыми движениями в бокале недопитое густо-бордовое вино. –

Ляля

давеча пообещала вслух, что если все мы проживём достаточно долго, то ещё сможем полетать

на пассажирских самолётах ваших конструкций. Или вас больше привлекает служение богу войны

Марсу – истребители и штурмовики?

Вопрос был, конечно, «с заходом», причём издалека. Савченко, только что аккуратно осушивший бокал вина и изготовившийся закусить его остаткамипельменей, внешне напоминавшими изящные женские ушки, прервал себя на полудвижении к ножу и вилке,

чем

снова вызвал ироническую улыбку у Ляли; она вспомнила, как он сражался на турбазе с содержимым тарелки при помощи двух алюминиевых вилок. Сегодня, конечно, он был в полной

готовности продемонстрировать застольный этикет – и столовое серебро, слава богу, в их доме

далеко эволюционировало от алюминия.

Савченко мимолётно, хотя и вполне серьёзно, задумался над заданным вопросом, прежде чем дать, по своему обыкновению, развёрнутый ответ:

– Меня, честно говоря, привлекают новые разработки гораздо больше, чем внедрение уже существующих. Поэтому хотелось бы заниматься именно этим. Если уж допустить то, о

чём

говорила Ляля, то путь к собственной модели самолёта новой конструкции лежит именно через

НИИР. – Столкнувшись с непонимающим взглядом Жоры, он поспешил объяснить: – «научные

исследования и разработки». Именно там непротоптанные дорожки. Именно там можно создать

что-то принципиально новое. А внедрение, как я слышал от выпускников, – это сплошное расстройство. То того нет, то другого не хватает. Начинают с элегантного решения, а заканчивают

какой-то несурзацей: подгоняют не материалы под техническую мысль, а технические решения

под имеющиеся материалы. А поскольку материалы – это такая... – С уст Савченко чуть не

сорвалось неприличное слово, но он вовремя спохватился.

Жора продолжал молчать, выжидательно глядя на гостя, – простая уловка, которая работала почти всегда на переговорах в МИДе. Ну, пожалуй, только не с азиатами с Даль-

него

Востока: те воспринимали молчание как знак к окончанию переговоров...

Но этот гость, современная инкарнация то ли Есенина, то ли Сикорского, слава богу, не походил менталитетом на японцев или корейцев, разве что потенциалом честолюбия...

Игра в

молчанку дала свои плоды – Савченко продолжил ветвистую цепочку причинно-следственных

связей:

– Но НИИР тоже не мёд. И в этом вся проблема.

– Какая именно? – Жора знал, что на подсознательном уровне лаконичный вопрос вероятнее даст развёрнутый ответ.

– Проблема в том, что все средства – нет, не все, конечно, но большая часть – выделяются под военные разработки. Гражданское самолётостроение, если честно, – бедная Золушка на балу,

где в основном пируют оборонные КБ и предприятия. Магистральные самолеты «Аэрофлота» –

это близкие, но бедные родственники стратегической военной авиации или, на худой конец,

бомбардировщиков средней дальности или транспортников. Никто и нигде не будет специально

заниматься разработкой пассажирских самолётов: для этого нет материальных стимулов.

В

оборонке и зарплата повыше, и квартиры дают быстрее, и в ведомственный санаторий летом

можно съездить. Отсюда и разница в уровне специалистов. Хорошо ещё, что в авиастроении

можно легко адаптировать планер для гражданских нужд – достаточно установить ряды кресел и

сделать несколько выходов. А в принципе... Корпус тот же, что и в бомбардировщике, двигатели и

навигационные системы менять не нужно. Простое решение. Автопрому, например, гораздо

сложнее. Там та же ситуация. Мой одноклассник собирается распределяться на Минский автозавод после политеха, он мне рассказывал, как большегрузные тягачи: МАЗы, ЗИЛы,

Уралы –

сделаны более-менее на уровне, потому что продукция идёт вначале в войска, а потом уже в

колхозы или стройтресты. А с легковушками беда. С «Запорожцем» бьются уже лет семь, а толку

нет и, кажется, не будет. Автомобилестроители, в отличие от нас, не могут взять шасси, скажем, от

ЗИЛа и посадить на него кузов легковушки. Что, кстати, пример «Запорожца» и доказывает: завод

ведь раньше был тракторный, это его недавно перепрофилировали. А мне хотелось бы потрудиться над оригинальной гражданской разработкой. Знаете, наш ответ американской

модели «Боинг-747». Двухэтажный пассажирский широкофюзеляжный самолёт – вот это вещь!

Вот бы сделать что-нибудь подобное!

– «Боинг-747»? Как же, слышал и читал в «тассовках», то есть в новостных лентах ТАСС, –

целомудренно поправился Жора в ответ на непонимающий взор гостя, – а мой коллега даже

видел его, что называется, вживую в аэропорту Лондона. Сказал, что впечатляет – этакое чудовище в небе, и пассажиров в нём столько, сколько в целом поезде. Вам бы, конечно, как

профессионалу было интересно увидеть его воочию... И так, чего вам хочется, понятно. А что вам

можется? Иными словами, куда на практике лежит ваш путь? – спросил Жора с такими обертонами в голосе, что Савченко понял: вопрос задан не из праздного любопытства.

– Да, мне, как говорят мои однокурсники, параллельно. Везде есть интересные проекты. Подозреваю, что в какое-нибудь закрытое КБ. Один из вариантов – КБ имени Хруничева здесь, в

Москве. Если дадут прописку, а потом жильё.

В конце вечера, когда все вышли в большую прихожую, всегда удивлявшую Вадима яркостью освещения, пока он, нахлобучив шапку на голову и пытаясь одновременно попасть

руками в рукава зимней куртки, а ногами – в ботинки, Жора, с непроницаемым видом наблюдавший эту сцену, вполне по-отечески сказал:

– На прощание как благодарность за наш такой интересный диспут у меня есть для вас, Вадим Борисович, интеллектуальный ребус – загадка, если угодно, задание на дом. О

Булате

Окуджаве слышали?

Получив утвердительный ответ от Савченко, который одолел-таки свою куртку и сейчас, застегнув молнию, заинтересованно застыл в ожидании, – Жора продолжил:

– У него есть, такой, знаете ли, «Сентиментальный марш». Довольно известный – уверен, что вы слышали. Так вот, Вадим Борисович, там есть одна несуразность в тексте. Не буду

утомлять

вас текстом целиком – достаточно концовки:

Но если целый век пройдёт, и ты надеяться устанешь,

Надежда, если надо мною смерть распахнёт свои крыла,

Ты прикажи, пускай тогда трубач израненный привстанет,

Чтобы последняя граната меня прикончить не смогла.

Но если вдруг когда-нибудь мне уберечься не удастся,

Какое б новое сраженье ни покачнуло б шар земной,

Я всё равно паду на той, на той единственной Гражданской,

И комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной.

Так вот, Вадим Борисович, расшифруйте дома, используя вашу недюжинную математическую логику, простую загадку, которая в основе этого образа: «Комиссары в пыльных

шлемах...» О чём это? Только чур уговор: решите этот ребус сами, без помощи сокурсников МАИ.

Образы, знаете ли, таят в себе опасные смыслы подчас. И это, мне кажется, тот самый случай.

Савченко снова, как и при упоминании Ульбрихта в начале вечера, почувствовал, что случайно обнаружил какую-то ведущую в подполье или лаз важную дверь, закрытую на хитрый

замок, – дверь, о существовании которой простодушные обитатели Изотовки не догадывались –

или им было всё равно.

– А когда – не если, а именно когда, – с твёрдой, начальнической ноткой в голосе завершил фразу Жора, – решите этот ребус, подскажите решение Ляле. Она его, по моему, тоже

пока не знает, просто не задумывалась над ним. Но и ей будет интересно.

Глава 8

Жизнь состоит из множества мгновений...

Ляля слишком хорошо знала отца, чтобы ждать от него немедленной реакции на смотрины её первого молодого человека. Но, по той же логике поведения Жоры, которую она так

хорошо изучила с детства, не сомневалась в том, что реакция последует – и не просто реакция, а

аналитический обзор в присутствии Валентины, но без активного словесного участия с её стороны.

Отец, конечно, всегда заранее согласовывал общую позицию с мамой, но на этих семейных

советах, которые он не без юмора называл «малым Совнаркомом», родительскую позицию всегда

оглашал он сам, при молчаливом, подразумеваемом согласии со стороны Валентины.

Так

было, когда он давал Ляле инструкции о поведении перед поездкой с поездом дружбы в Чехословакию, а ещё раньше, в её пионерском возрасте, перед тем, как отправить дочь в «Артек».

Формат был устоявшимся и не менялся в зависимости от тематики: они усаживались за большой

обеденный стол, причём Жора всегда сидел напротив дочери, лицом к лицу с ней, а Валентина –

за тем же столом, на отцовской стороне, но чуть сбоку, словно не имеющий права голосовать член

Политбюро. Когда Ляля подросла до уровня понимания того, какие пружины и каким именно

образом работают в настоящем, том самом Политбюро (Жора весьма обстоятельно и откровенно

просветил её на этот счёт в начале школьных каникул после восьмого класса, на даче, подальше от

стен и потолков, когда они собирали малину, время от времени лениво отмахиваясь от пчёл),

Ляля при следующей оказии предложила родителям переименовать их «малый Совнарком» в

«малое Политбюро». Жора весело рассмеялся, с готовностью похвалил её за то, что она стала

мыслить взрослыми категориями, после чего, всё ещё полушутя, процитировал Алексея Константиновича Толстого:

Ходить бывает склизко

По камешкам иным,

Итак, о том, что близко,

Мы лучше умолчим.

И умная Ляля поняла, что её идея осуществится, если вообще осуществится, только когда и если Политбюро разделит историческую судьбу Совнаркома. На этот раз «малый Совнарком» собрался весьма оперативно – на следующий день после визита Савченко. Отец шутиливо, постучав чайной ложечкой по розетке с айвовым вареньем, объявил заседание открытым и сказал, что на повестке дня три вопроса: впечатления, которые оставил о себе юный авиаконструктор, перспективы его карьерного роста и «разное». Ляля по-детски беззаботно жевала золотистый, неправильной формы кусок айвы из варенья, пытаюсь понять, как бы охарактеризовал егеря его геометрическую форму – додекаэдр или октаэдр? – и за беспечным хихиканьем пытаюсь скрыть волнение. Мнение отца в семье считалось решающим, и она это знала. Жора, в лучших традициях дипломатического дискурса, начал, что называется, за здравие: – Ты знаешь, дочь солнечной Армении, наш вчерашний визитёр меня обнадёжил. Не перевелись ещё умные головы на Руси! А именно: в провинциях! Я готов отдать десяток столичных хлыщей из московских спецшкол за одного такого парадоксально мыслящего – но мыслящего! – Здесь Жора по-лекторски поднял палец вверх, – провинциала-знатока поэзии. Тем более что он весьма выборочно относится к поэтам. И подчас даёт довольно резкие оценки. Я, наверное, пристрастен и, грешен, питаю слабость к дерзким и самоуверенным провинциалам. «Из грязи в князи» – в этом что-то есть! Твой пришелец из Изотовки – это, как выражаются наши потенциальные противники по ту сторону океана, – классический *underdog*. Из такого человеческого материала в условиях загнивающего и умирающего капитализма получаются министры финансов, а то, глядишь, и президенты. Которые, кстати, силой своего интеллекта и спасают в энный раз капитализм от неминуемого краха. – На лице Жоры играла сардоническая улыбка, которая, в более слабой версии, отразилась и на лицах Ляли и Валентины. – И здесь мы вплотную подходим к нашей проблематике – той, что по эту сторону океана. А именно: каковы реальные перспективы этого апологета аэродинамики и ярого оппонента тех, кто «с детства не любил овал, кто с детства угол рисовал»? Жору, как это часто с ним бывало, увлёк поток вдохновения, и он со скрытой досадой пожалел, что эти строчки Когана не пришли ему в голову вчера во время поэтического диспута. – Завод Хруничева – из того немногого, что я знаю, – это космос. Космос – это секретность,

допуски и статус невыездного. Что мало бы меня беспокоило применительно к кому угодно

стороннему. Но у меня зреет и даже вызрел вопрос, о дитя нервной и сторожкой дипломатической среды! А какие отношения у тебя с этим молодым человеком? – И

Жора очень

пронзительно посмотрел на дочь.

Ляля знала этот взгляд отца и была уверена с того момента, как затеяла весь этот визит, что

ей придётся вынести эту непростую очную ставку.

– Отношения? – как можно более ровно эхом откликнулась она. – Дружеские. На уровне посллов. Он ведь интересный, неординарный человек. Ты, по-моему, сам это сказал.

Жора этого не говорил, но Ляля знала, что лучшая защита для неё – это нападение, и словечко «неординарный» – прямо из лексикона егеря! – пришлось очень даже кстати.

Жору не удалось сбить с темы: он знал, что ставки потенциально могут быть очень высоки:

– Дитя моё, – несколько язвительно среагировал он, – у меня целый отдел интересных людей. При соответствующем усилении их можно даже назвать неординарными. Но я

совсем не

торопился бы открыть им двери своего дома. Или представлять их в объятиях, скажем

так, моей

дочери.

Ляля моментально, как в пинг-понге, сообразила, что на «объятия» нужно реагировать, и причём немедленно. Секундная задержка с ответом с её стороны была бы смертельно опасна: кто

знает, куда могли их завести эти физиологические подробности!

– Причём здесь объятия?! – с хорошо поставленным изумлением воскликнула она. – О них

речь не шла и не идёт!

– Пока, – тут же, без паузы добавил Жора. – Пока не идёт. А дальше?

Ляля решила помолчать в надежде, что отец скажет что-нибудь ещё и ей не придётся отвечать на вопрос. Но Жора наседавал на неё в лучших традициях мидовского переговор-

щика. –

Этот вопрос беспокоит не только меня, но и мать.

Валентина, доселе сидевшая безмолвно, сказала с некоторой долей заученности:

– Ты сама определилась со своим отношением к нему? Со своими чувствами, если они, конечно, есть?

– Вот именно, – подхватил Жора, – об этом и речь. У тебя это что-то серьёзное? Ты сама что

обо всём этом думаешь?

– Не знаю, – ответила Ляля и сама удивилась, насколько её ответ близок к истине. – Мы с ним болтали как-то там, на Чегете, и он рассказал мне о казусе кота Шрёдингера. Вот и моё

отношение – это такой кот.

Жора и Валентина озадаченно посмотрели на дочь, и той ничего не оставалось, как пуститься в подробные и путаные объяснения:

– Я, честно говоря, сама не до конца поняла, в чём смысл этого эксперимента с воображаемым котом – так только, в самых общих чертах. А Шрёдингер – это какой-то австрийский учёный, судя по всему, физик, по имени которого назван эксперимент.

Экс-

кстати, сугубо мысленный, в этом как раз для меня и трудность с его пониманием. Главный вопрос

эксперимента, на который нужно дать ответ: распалось ли одно ядро атома, период распада

которого – один час, или нет. По условиям дано, что распад ядра, которое находится в изолированном металлическом контейнере, приведёт к цепной реакции выделения сильнодействующего яда, который убьёт кота, сидящего в том же контейнере. С другой стороны,

если ядро не распадётся, то кот останется жив и будет преспокойно сидеть себе в ящике и дальше.

Загвоздка в том, что ящик закрыт, и вы не знаете, жив кот или нет, то есть распался атом или нет, по крайней мере до тех пор, пока не вскрыете ящик. До момента вскрытия ящика с равной

степенью вероятности можно одновременно допускать любую из двух взаимоисключающих

версий, – закончила Ляля тираду и сама удивилась тому, как складно и доходчиво объяснила то,

чего сама понять не могла.

– Единственное, что мне импонирует в этом эксперименте, что он сугубо мыслительный.

Я

правильно тебя понял? – пробурчал Жора. – То есть никакой реальный кот в результате не

пострадал. Но выводы из твоей аналогии малоуспокаивающие, надо сказать. То есть ты сама

толком не можешь разобраться, в каком состоянии этот твой кот?

Ляля молчала, только пожала плечами. Ей действительно нечего было сказать, не распространяться же на тему сексуальных игр с маской!

Жора сосредоточенно посмотрел на скатерть перед собой:

– Тут ведь есть ещё один фактор – фактор времени. У этого твоего кота его не так уж много.

Не один час, конечно, – усмехнулся он, и Ляля в очередной раз про себя восхитилась тем, как от

отца не ускользают такие важные детали, – но и не вечность. Хорошо, если твой гипотетический

кот мёртв, тогда вопроса нет. А если наоборот? Ведь у него, этого Есенина от аэродинамики,

распределение на носу. И что ты будешь с ним делать, если упекут его в заурядный – да пусть хоть

и весьма незаурядный! – но «почтовый ящик»? Сидеть на одной шестой суши до конца своей

жизни? Это уже период распада не атома, а всей карьеры!

Жора видимо волновался, что было очень непривычно для Ляли, и ей захотелось сказать отцу что-то ободряющее.

– Хочешь, я скажу ему ничего не подписывать и ни на что не соглашаться пока.... – она запнулась, – пока решается, жив кот или нет?

– Давай, и не медли. А то упекут его под белы ручки в какую-нибудь Черноголовку, если не в Тюратам, – только ты его и видела. Он, по-моему, не до конца прочитывает эту ситуацию. Это бывает – особенно с выходцами из Изотовок. И, кстати, здесь мы переходим к

дим к

третьему и последнему пункту повестки дня, а именно: «разное». Пока я сам не забыл, во-первых, проведи с ним объяснительную работу под девизом «язык дан дипломату, чтобы скрывать мысли,

а не высказывать их». Это я к вопросу о главвоенморе, которого он причислил к лику политиков.

Понятно, о ком речь? – Жора снова испытующе посмотрел на дочь. – Святая инквизиция уже

высказала своё мнение. Roma locuta – causa finita – Рим высказался – дело завершено.

А то твоему

конструктору вроде и невдомёк. Я вообще удивлён, что он там, в Изотовке, слышал это имя. Явно

влияние или какого-то любимого школьного учителя, или, что вероятнее, – его отца.

Недаром тот

любитель поэзии. Военмор-то тоже не чурался, даже с Есениным полемику газетную вёл. – Жора

опять невесело усмехнулся. – И ещё. Тоже в разделе «разное»... Очень ненавязчиво донеси до

него мысль, что за трапезой запивают еду вином маленькими глотками и вовсе не обязательно до

дна, а не наоборот – не закусывают алкоголь едой. Кстати, предварительно промокнув губы

салфеткой. Боюсь, что в МАИ этому не учат, не говоря уже об Изотовке...

Несмотря на незлобивый тон сказанного, – Жора попытался придать своему голосу

максимально нейтральный оттенок – Ляля вдруг вспыхнула от смущения, будто уроки

этикета

адресовались непосредственно ей.

– На этом заседании «малого Совнаркома» объявляю закрытым, – шутливо провозгласил

Жора, подумав про себя с всё возрастающей тревогой: «Боюсь, нам ещё предстоит вернуться к

разговору о состоянии этого так называемого кота Шрёдингера. Кажется, всё не так просто и

безобидно, как она хочет нам это представить».

Она прожила с ним чуть ли не целую жизнь, если брать за хронометраж

продолжительность существования ну, скажем, одной картофелины. Это уже затем, много

позднее, она поднаторела в таких странных аналогиях, когда толчком стало мельком услышанное

по английской службе Би-би-си упоминание о «собачьих годах», что-то типа того, что один год

собачьей жизни (по крайней мере, для овчарки) идёт за двенадцать лет человеческой.

Так что в

категориях картофеля те пять месяцев, что они провели вместе, – длинная, полноценная жизнь.

Ergo – это его словечко-паразит, которое у него появилось уже здесь, в Москве, и которое почему-

то раздражало Лялю. Что за навязчивость в мыслях: «дано», «следует доказать», «следовательно»

– ergo... Уж лучше и понятней ещё одно его любимое «ёксель-моксель». Оно как-то более естественно звучало в его устах.

Да ладно! Ведь, не считая этого слова, она была с ним счастлива? Ещё бы! Конечно, так, как никогда раньше! И эта обманчивая линейность их сладостного существования, их медового

месяца длиной в недели и декады, там, в зимней темноте её спальни, пока отсутствовали родители, и потом, на московских улицах под прохладными апрельскими ветрами, когда уже

сошёл снег, наверное, и сыграла с ней жестокую шутку.

Она заторопилась жить, поспешила, как птица, вить воображаемое гнездо, веточка за веточкой, приголубливая его уже не только в постели под аккомпанемент советов из опасной

поваренной книги, а и в том, большом мире. Так ведь и мудро не ошибиться. Это зорко подметил и Жора, когда вполне демократично открывал ему дверь по вечерам не реже четырёх-

пяти раз в неделю. Савченко, как киногерой в духе итальянского неореализма, с сожалением

покидал Лялину спальню на время ради сиротских подъездов соседних домов, чтобы самым

невинным образом снова предстать перед дверью её квартиры час спустя, когда Жора возвращался с работы. И Жора, глядя на них со скепсисом номенклатурного патриция и ревнивой

подозрительностью отца-армянина, в душе не мог не признать – пусть и ворчливо, сквозь зубы,

что они созданы друг для друга. Об этом красноречиво сообщали миру все эти взгляды, тактичные

недомолвки, необходимые для окружающих усмешки умных, уже совсем взрослых людей, которых,

казалось, связывали не месяцы, а годы.

«Голубки, нечего сказать!» – внутренне вздыхал Жора, стараясь намётанным взглядом дипломата посмотреть на них, будто на чужих, со стороны: каково они будут смотреться вместе?

Даже внешне они подходили другу другу, при всей их непохожести. Дочь напоминала головку с

камеи: высокий лоб, чёткий рисунок глаз, правильной формы прямой нос, полные чувственные

губы. Лишь чёрные волосы и длинющие загнутые ресницы намекали на её неславянское происхождение. При взгляде на неё Жора всякий раз с облегчением констатировал, что ей, с её

внешними данными, слава богу, не нужна косметика: её лицо ярко и выразительно само по себе.

Он, проживший десятилетия в Москве, так и не привык к конвульсиям моды, заставляющим

горожанок грунтовать кожу на лице, и подспудно числил косметику где-то по категории ажурных

чулок и красных фонарей. Ну и этот потенциальный зять из ниоткуда, любитель стихов и математической зауми, тоже не обижен создателем, который потрудился над ним крупными

мазками акварелью: светло-серые прозрачные глаза, светло-русые волосы, круглое лицо.

Есенинский типаж, нечего сказать! Валентина тогда, при первой встрече, оказалась права. У неё, как и у всякой женщины, на первом месте внешние ассоциации. Женщина, что с неё взять!

Впрочем, и не дурак – МАИ всё-таки! Ребус из Окуджавы разгадал, ответил, заявившись на второе

свидание; правда, не без подсказки – понял, что загвоздка в шлеме, не снятом с головы.

А что

шлем не снимают над поверженным врагом – это уже пришлось Жоре подсказывать.

И вот эта Лялина птичья суета вокруг него – может, в этом было всё дело, и она, сама не подозревая, с чем-то переборщила? А с чем, собственно? Что обманом, женской хитростью

сумела приодеть возлюбленного? Ну не вести же его на вечер в институт в советских джинсах,

которые он полунасмешливо именовал «техасами»? В эти проклятые шмотки всё и упиралось –

показаться в свете перед сокурсниками требовалось при полном параде. А как одеть его на этот

самый парад? Джинсовый костюм Levi's и пару батников к нему он, этакий упрямый хохол, ни за

что бы не принял. Она это чувствовала каким-то подспудным, шестым чувством. Пришлось врать

доверчивому егерю, да ещё с тонко рассчитанным апломбом: ты, мол, собаку съел в точных

науках, никто этого и не оспаривает. Но в том, что касается покупок, нет уж, математик, доверься

женщине и можешь не сомневаться. Просто отец недавно в командировке был в США, а там есть

такая вещь, как распродажа, – это тебе не линейный ГУМ, в котором если десять купил, то за

десять и плати; а там, понимаешь, сплошная нелинейность и масса неизвестных переменных

величин: если купишь две вещи, третью давали в подарок. И вот, мол, отец эти шмотки получил в

виде подарков. И куда их теперь девать? Не в детский же дом отдавать фирменные вещи?!

– Ну, есть комиссионка, – упирался он. – Тебе что, деньги не нужны?

Она, со змеиной хитростью, предвидела этот поворот темы:

– Если бы мне позарез деньги нужны были, я бы эти джинсы и с рук продала. Зачем мне в комиссионке светиться? Но мне, знаешь, не с руки, прости за каламбур, слишком много людей

смотрят. Сотню заработаю, а характеристику себе испорчу.

Она с торжеством смотрела на него, и Савченко сдался:

– Хорошо, давай я тогда куплю их у тебя. Только в рассрочку: с деньгами у меня бывает туго.

Но она подготовилась и к этому повороту его мысли:

– Идёт! – сказала она. – Но только вот с каким условием. Обычные деньги мне не нужны: это скучно и неинтересно. Ergo, хочу, чтобы ты мне заплатил нелинейными деньгами, то есть

полученными за изобретение. Добивайся государственной премии. Или Ленинской. А с твоей

стипендии – это уныло и неинтересно.

«Она попала в яблочко!» – завёлся он с пол-оборота.

– Ладно, так и быть! Спасибо за джинсы. Но должок за мной! Учти, что я могу отдать его скорее, чем ты рассчитываешь!

– Ладно, ладно! – примирительно замурыкала Ляля. – Надевай скорее. Я ещё не совсем уверена, что они тебе по размеру.

Это была заведомая, но недоказуемая ложь: она, конечно, сама подбирала и выписывала их по каталогу, так что с размером, да и стилем ошибиться не могла.

Или она начудила с кулоном? Но ведь это случилось позже того злосчастливого вечера в МГИМО, когда его словесно пнули, как беспородного пса, причём в её присутствии?

Пнули так, как

эти сволочи умеют, не оставляя следов на теле, но оставляя синяки на душе. Разве она думала, что

это его так взбеленит? «Щелкни кобылу в нос – она махнёт хвостом» – так у Козьмы Пруtkова. Вот

он и махнул, да ещё как! Но почему не сразу? Затаился с этой травмой, с этим унижением? Таскал

его в себе? Ну ладно, – а она тут при чём? Не она ведь его обидела? Да и повела-то его к себе в

институт из лучших намерений. Нет, ну конечно, хотелось и пыль в глаза кое-кому пустить! Пусть

знают! Та же Лилька! И все эти отпрыски с родителями от Манилы до Рио-де-Жанейро.

Вскормленные на Мике Джаггере и «Роллинг стоунз». Ей, конечно, имелось что предьявить *Urbi et Orbi* – городу и миру. Он смотрелся как бог – норманский бог. Кто там у викингов? Белокурая

бестия? Но не такой же ценой! Кто же знал, что с этого и пойдёт трещина?

А она? Она прошляпила эту травму. Просто не обратила на неё внимания. Вместо этого, как хлопотливая ласточка, продолжала носиться по жизни с планами, то ныряя вниз, то взмывая

вверх. Вверх – это все её высокопарные посягательства на дзен-буддизм. Китайская философия.

Из чего и материализовался этот кулон – подарок к его дню рождения. А вниз – это, конечно, с

ним в постели. А почему тогда вниз? Тем более что она часто была сверху? Нет, это, конечно, в

библейском смысле: грехопадение и всё такое прочее. Всё, во что он своим материалистическим

умом ни минуты не верил. И слава богу! Может, именно поэтому он, сам того, наверное, не

понимая, дал ей ощутить, что грех – это очень сладко. Сладко и неповторимо. Не зря она его тогда

соблазнила в Чегете.

И «кулинарная книга», припрятываемая за томами истории Второй мировой войны, наполнялась их дыханием, их сдавленными, торопливыми голосами, переходящими в стон и

какой-то блаженный, постыдный лепет. Он, слава богу, совсем перестал стесняться в постели и её, и, самое главное, себя. Она, хитрая ведьма, заманила его в сказку, в зачарованный лес, из

которого, казалось, нет выхода, как ни старайся.

– Слушай, мне кажется, мы одни такие на свете! – как-то сказал он, когда она, уже готовая одеться, дурачилась и принимала вызывающие позы перед ним в проёме двери. – Мы живём в

какой-то сказке. Только в сказке для взрослых. Но это же нереально! Так ведь не бывает!

Я вот еду

от тебя обратно, в общагу, гляжу на пассажиров метро и думаю: неужели у них есть что-то похожее в жизни?

Она, загораясь азартом от его слов, припоминая все рецепты из потаённой книги, продолжила шутливо:

– Да, вот именно так! Сказка! У нас сказка! Всегда со счастливым исходом.

А почему бы и не сказка? Про Ганса и Грету – классика братьев Grimm. Злая ведьма, влекущая наивных простаков в сладкий домик. Он, конечно, знал содержание, хотя сказки, во

всяком случае нерифмованные, гриммовские, лежали в стороне от столбовой дороги его причудливых литературных интересов – поэзии. А её это зацепило по-настоящему, так, что она

стала каждый вечер в полудрёме, засыпая одна в своей комнате, представлять себе эту эротику с

ним, милым наивным Гансом, которого сейчас без лишних слов совратит распутная ведьма. И эта

источина перед сном, и эти, по контрасту, серые пассажиры в метро, которые не подозревали о

существовании мира сказок, – всё это смешалось в ведьмовский коктейль, который она себе

приготовила. Не без помощи знакомой театральной портнихи с заказом на маленький, совсем

короткий фартучек с оборками, длинный спереди и совсем куцый сзади, конечно же, для детского

утренника, где она будет играть роль Греты, а юбка у неё, конечно, есть от другого, прошлогоднего маскарада – юбка Красной Шапочки!

«Ведьмовский коктейль» пришлось откладывать до выходных, когда удалось сплавить родителей на дачу – впервые после долгой зимы – на рекогносцировку, что давало Гансу и Гретель полноценные три часа ласк в домике из сладостей. Но она, истая ведьма, не предупредила его заранее о деталях, ограничившись упоминанием, что весь день до вечера у них

в запасе. И он, не успев стереть с лица вполне себе цивильное выражение, годное для метро, но

не для общения с ведьмами, остолбенел посреди прихожей, увидев её в маленькой манерной

шляпке, игрушечной кофточке с рукавами-фонариками и фартучке – обновке для лжеутренника.

Ведьма потянулась к нему двумя руками, будто прося о помощи и шепча что-то по-английски, а

потом неожиданно повернулась к нему спиной, обнажая всё то, что могла бы закрыть юбка, если

бы Ляля её надела, и направилась в гостиную, покачивая бёдрами и насвистывая что-то греховное.

Он, выйдя из ступора, как был, в куртке и ботинках, кинулся за ней, нагнал её одним прыжком и

повалил прямо на пол. Ведьма шутливо отбивалась, пытаясь на «Оскар» сыграть роль невинной

Гретхен, то всплёскивая руками, то лукаво прикрывая ими самые волшебные ведьмовские тайны,

громко протестуя против насилия над такой приличной, а главное, невинной девушкой, и тем

более прямо на полу! А если уж дотрагиваться до неё, то не иначе как волшебной палочкой! Но

было поздно или, напротив, как раз точь-в-точь с вспышкой этого костра страсти, который ведьма

сама и разложила. Он, в обыденной жизни самый обыкновенный Ганс, пусть и с копной красивых

волос, ещё минут двадцать назад лицемерно-невинно прижимавшийся к стенке вагона метро,

теперь, войдя в роль насильника, возбудился так, что не мог ждать ни минуты – да что там, ни

секунды!

– Подожди, ведь ведьмы не отражаются в зеркале! – шепнула она, падая на колени перед большим, во весь рост зеркалом в прихожей, но он уже не мог ждать и не хотел её слушать.

Он

раздвинул ей ноги сзади одной рукой, второй вынимая, как показалось Ляле в тот момент,

огромный, нестерпимо горячий, чуть ли не дымящийся член, и, повернув её вперед и в сторону,

вонзился в уже услужливо подставленное лоно сзади, необычно для него, резко. Так хорошо

Ляльке никогда не было. Она даже закричала от неожиданности и острого, граничащего с болью

удовольствия. Он испугался её крика и инстинктивно метнул взгляд в зеркало, где, вопреки

правилам, отражалась вся она, с мукой удовольствия на лице, с перекошенными губами, которые

теперь, в агонии, шептали-кричали:

– Давай! Ну давай же! Ещё!

Она подгоняла его, как запыхавшегося, замедлившего не ко времени бег коня. Будь у неё в

руках хлыст, она непременно прошла бы по его мускулистым ягодицам. Он весь отдался этой

сумасшедшей скачке, не видя ничего, кроме её мокрого от пота торжествующего лица, которое

искажалось гримасой боли и наслаждения.

Эта дикая, разнузданная до умопомрачения гонка, когда он, кажется, порвал её внутри так,

что у неё онемели руки и затряслись ноги, сведённые судорогой, а лицо было мокрым, будто она

нырнула в воду, и она шаталась в его объятиях по пути в ванную, – этот ведьмов грех остался в его

памяти навсегда. И он впоследствии, на протяжении многих лет, тщетно пытался обмануть судьбу, добросовестно стараясь сделать приятное какой-нибудь очередной пассии, закрывал глаза и

представлял Ляльку в костюме Гретхен, ловил своё возбуждение, пытаясь реанимировать все

ощущения, которые он испытал тогда, и смело шёл в бой. И приём срабатывал всегда. Но так

хорошо, как с ведьмой в тот день, ему уже никогда не было...

Всё получалось так хорошо! Так здорово! Кто же знал, что в его подсознании идёт этот процесс брожения, ферментации обид и глупого, заносчивого гонора? Ущемлённого комплекса

неполноценности, уязвлённой спеси амбициозного провинциала? И внешне при этом ничего не

менялось. Всё было прекрасно! Линейно...

А она, дурочка, задолго до его дня рождения озаботилась: что же подарить? Хорошо, что ещё не додумалась преподнести ящик хорошего пива из «Берёзки», как вначале намеревалась,

какого-нибудь «Гролша», например. Задним числом она поняла, что это оказалась бы соль на ту

же рану: «Не говори о верёвке в доме повешенного...» Пиво это баночное пьют, не поперхнувшись, они, те самые, с работой родителей от Сингапура до Оттавы. А не выходцы из

Изотовки... Хотя в тот момент это до неё не доходило, возобладал практический резон: пиво он

выпьет и через неделю забудет об этом. А где же я в этом уравнении? Не хотелось оставить след в

его душе в виде заморской пивной банки. Нет, что-то надо с вывертом, с выходом в тайники

сознания. Чтобы осталось и всегда напоминало о ней. И при этом чтобы он не упёрся, как с этими

джинсами... Часы? Не пойдёт по той же причине – опять встанет вопрос денег... тем более что

часы могут разбиться, сломаться, выйти из моды, наконец... Нужно что-то маленькое, незаметное

и интимное, но чтобы оно всегда находилось при нём и напоминало о ней. Жёны декабристов, что

они дарили? Правильно! Нательную иконку, образок. А для этого нелинейного материалиста?

Вдруг её осенило: конечно кулон! Единственное, что можно всегда носить незаметно, под рубашкой. Типа таких, которые она видела в контрабандном западном мужском журнале.

Только,

конечно, не с символом доллара, как там... А с чем? Знак зодиака? Фигурка какой-нибудь обнажённой Венеры? Нет, это всё не то. И она открылась – попросила Жору принести

с работы

каталог какой-нибудь ювелирной фирмы, чтобы позаимствовать идею. Пришлось честно признаться отцу, что хочет подарить Вадиму нечто этакое, со значением.

Знала бы она, сколько горячего подлила в костер Жориных душевных мучений! Теперь дочь, видите ли, мечется в поисках подарка ко дню рождения! Да не простого подарка, а с

подтекстом... Который в перспективе может означать только одно... Он все последние недели и

так изводил себя размышлениями о судьбе молодых. Распределение в МАИ было не за горами, и

решительный разговор о будущем их отношений неумолимо маячил на горизонте, как дождевая туча.

«Дался ей этот технарь! Осядет она тут с ним без выезда, не дальше Крыма и Прибалтики

–

и что? Может, я лицемер? Ладно ещё на переговорах, так и в собственной жизни думаю одно, а

делаю совсем другое? Счастье дочери меряю валютой и загранпоездками? А любовь, взаимопонимание, родство душ? Она что, нашла всё именно в этом есенинском двойнике?»

Он виртуозно разыграл перед дочерью беззаботность, даже дружескую беспшабашность:

– Say no more – oh ye, woman! – воскликнул он игриво, тут же переходя с английского на утрированный армянский акцент и красноречиво поднимая к потолку указательный палец. –

Оберег, слушай, да? У нас этих каталогов пруд пруди. Все не довезу, места в машине не хватит.

Попрошу завтра Иришку-джан, да? Пусть подберёт что-нибудь подходящее.

Иришка-джан, в миру Ирина, числилась его секретарём и доверенным лицом.

Иришка переусердствовала: накопила целую кучу рекламных каталогов, которые, наверное, скрашивали скуку рабочих будней мидовским жёнам и секретаршам картинками

нездешней жизни. На просмотр всей кипы журналов у придирчивой Ляли ушёл чуть ли не весь

вечер. В самом процессе поиска заключалось что-то захватывающее. Удобно устроившись на

мягком велюровом диване, прихлебывая чай из чашки манерного сервиза «Мадонны», Ляля сама

почувствовала себя рекламным персонажем – такой, как вот эта, домохозяйкой из американских

журналов времён пресловутого «процветания». Не хватало только домика-бунгало – американской мечты с никелированным «крайслером»-бегемотом у гаража... И мужа с белозубой

улыбкой, возвращающегося к благоверной ровно в полшестого, прямо к обеденному столу.

Мужа... Здесь, на этой части ощущений, рекламное сознание начинало давать сбои. Что-то не

монтировался егерь в эту картинку. И они с ним ни разу, по обоюдному молчаливому уговору, не

трогали тему. А распределение надвигалось...

Отогнав от себя эти мысли, Ляля вьедливо впивалась глазами в страницы каталога, пока наконец не наткнулась на интересную вещичку. Золотая монетка, покрытая эмалью и разделённая

на две части – белую и чёрную. Линия, отделяющая одну часть от другой, была прочерчена не

ровно, а каким-то зигзагом с выемками. На гладкой эмалевой поверхности красовались два

иероглифа – по одному на каждой, причём разные. Иероглиф на белой стороне заметно отличался от иероглифа на чёрной. Кулон почему-то притягивал взор, таилась в нём какая-то

загадка. Может, эмаль по золоту? Или иероглифы? Их всё время тянуло рассматривать. На второй

картинке, рядом – тот же кулон, но разделённый на две части. Каждая на отдельной цепочке.

Рекламный текст бодро рекомендовал вещицу как символ неувыдающей любви, которая не в

силах перенести даже восьмичасовой разлуки белозубого американца и его верной, любящей

жены с буклями на голове и свежим обедом на столе. А посему половинки одной разделённой

души, обозначенные иероглифами, надлежало носить каждому из страстотерпцев, сгорающих от

любви в пригородах Детройта.

Ляля криво усмехнулась в ответ на игрушечное описание американского блаженства.

«Ладно, проехали... Но вещица, несмотря на пошлость рекламы, действительно занятная...». Что-

то во всём этом её цепляло. В контурах кулона и таинственных иероглифах спряталась какая-то

загадка. «Ну, почему разрез неровный, понятно: чтобы каждая половинка могла соединиться

только с той, от которой её отломили. А что же это за иероглифы? И почему чёрный и белый

цвет?» Пришлось снова обратиться к рекламному тексту: «Ян и инь – две противоположные

субстанции, которые едины и неделимы. В данном случае – двое влюблённых, две половинки

целого, которые хотят быть вместе. Ян – мужское начало, светлое и тёплое, оно олицетворяется

белым цветом. Инь – женское начало, тёмное и прохладное».

Она удивилась: логика, по крайней мере тех, белозубых, из Детройта, подсказывала противоположное: она бы отдала чёрную часть ему, а белую, наоборот, оставила бы себе.

Ведь

цвет фаты – белый! А жених, напротив, в чёрном костюме. На Востоке вроде бы всё наоборот; и

страницы книги читаются справа налево и сверху вниз. Странно. Невеста в чёрном платье и чёрной

фате на фоне жениха в белом – это, конечно, сильно! Загадочные Инь и Ян – что это, откуда?

Пришлось притвориться взыскующей эрудиции паинькой и обратиться к отцу. Это, как всегда,

оказался беспроегрышный ход, который повергал Жору в самое благоприятное расположение

духа: «О, моя дочь заинтересовалась древней восточной философией? Отраднo слышать». Он

поспешил в кабинет, где две стены отданы библиотеке, собранной за всю жизнь любовно,

корочка к корочке. Жора торжественно вернулся с толстенной книгой в руках – раритетным томом

«Древней китайской философии». Упреждая её вопрос, поспешил успокоить с нарочитой армянской иронией: «Нет, всю книгу можешь не читать, о женщина, дочь моя! Это же не

каталог, который можно изучать часами! А нужное место выделено закладкой».

Удивительно, что Ляля, прочитав заложенную страницу, перешла на вторую, и...

зачиталась. От этого занятия её оторвал отец, увидевший полоску света под дверью её комнаты.

Он постучался, вошёл в пижаме пожелать спокойной ночи, как он это делал ежевечерне, и застыл

в дверях. Ляля ничего не видела и не слышала. Она буквально впилась глазами в мелкий убористый шрифт и время от времени листала страницы. Жора негромко, очень деликатно

кашлянул, чтобы привлечь к себе внимание. Ляля на секунду оторвала глаза от книги, пробормотала что-то невнятное и опять углубилась в чтение.

Тема снова всплыла на следующий день во время вечерней трапезы. Как истый дипломат, Жора начал разговор совсем не с того, что его по-настоящему интересовало:

– Что нового в мире китайской философии?

Ляля посмотрела на него новым, каким-то изменённым взглядом:

– Слушай, это феноменально! Там всё не так! Вся картина мира вверх тормашками. Вот послушай: «Чистая субстанция ян претворяется в небе; мутная субстанция инь претворяется в

земле... Небо – это субстанция ян, а земля – это субстанция инь. Солнце – это субстанция ян, а

Луна – это субстанция инь... Субстанция инь – это покой, а субстанция ян – это подвижность.

Субстанция ян рождает, а субстанция инь возвращает. Субстанция ян трансформирует дыхание ци, а субстанция инь формирует телесную форму». – Сделав паузу, она воскликнула: – Ну как? И это

написано две тысячи лет тому назад!

– Да, сильно, сильно. А если точнее, оригинально. Смотри только – не отдавайся этой глубине без остатка. В любом океане мысли должны быть берега. – Жора по привычке усмехался

своей двусмысленной улыбкой. – А то я знаю одну-две страны, которые сгоряча погрузились в

философию... с печальными для себя житейскими последствиями. Так что не забывай, что наряду

с этой глубиной есть ещё и такая штука, как критика Линь Бяо и Конфуция. Сейчас у них в полном

разгаре, кстати.

Или развилка пройдена на дне его рождения? Но так незаметно, что она, в простоте своей,

не почувствовала? Она с упорством женщины, одержимой двумя страстями – к нему и к восточной философии, расстаралась с этим кулоном, обрушив хлопоты по его покупке на голову

отца и, далее, по касательной, его доброго приятеля в посольстве в Сингапуре. И с точки зрения

первой страсти день его рождения стал днём её торжества, как и планировалось. В-первых, она

встретила его в кимоно и с китайско-японской причёской. Каких усилий стоила ей эта причёска,

знала она одна. Требовалось выпрямить волнистые от природы волосы. Она гладила их утюгом,

вытягивала специальной расчёской, брызгала лаком. Ничего не получалось. Пришлось бежать в

парикмахерскую к знакомому мастеру, который, проклиная все восточные обычаи, всё-таки

соорудил на голове у Ляли нечто напоминающее пагоду. Важно было создать антураж восточной

красавицы – она подвела карандашом глаза и накрашила губы ярко-красной помадой. На её шее

красовался ещё не разделённый кулон, а в красивой коробочке на столике рядом ждала нового

хозяина золотая цепочка, довольно увесистая, с мужским, с точки зрения Ляли, якорным плетением. Итальянская, мечта столичных модников, не чета кустарным подделкам из мастерских

«Металлоремонта».

Она всё-таки здорово его выдрессировала с момента их знакомства, потому что, с лёгкостью уловив восточную тематику, он воскликнул:

– Ёксель-моксель, куда делась Красная Шапочка? Что это за незнакомая мне гейша? О, горе мне, горе! Где мой самурайский меч? Я готов совершить харакири!

Незаметно для Ляли, а тем более для себя, наученный предыдущим опытом, он превратно

истолковал её дебютную заготовку и игриво, совсем не по-самурайски, потянулся к пояску

кимоно, чтобы его развязать; но она буддийским жестом остановила его:

– Нет-нет-нет, не сейчас. Сначала нужно поздравить самурая с днём рождения.

Савченко, понимая, что Ляля приготовила ему какой-то подарок, и невольно гадая, сколько он может стоять и можно ли его принимать, делано отмахнулся:

– Да ладно уж. Самураи не празднуют дни рождения. Ты же сама говорила, что для них важнее другое – «мудрость переплытия к иному берегу».

И он опять сделал движение, чтобы развязать заветный пояс. На этот раз кимоно упало на пол, и Савченко, как замороженный, потянулся к её маленькой японской груди.

– Стой, самурай, притормози, – опять остановила его Ляля. – Ты разве ничего не видишь? Ну, кроме того, что уже созерцал раньше?

И она, закрыв груди согнутыми в локтях руками со смиренно сложенными вместе

ладонями, переадресовала его взгляд вверх – на кулон, к которому с её шеи змеилась

тонкая

заморская цепочка.

– Ну, конструктор, скажи, что это такое и какое отношение оно имеет к тебе?

Она расстегнула цепочку, сняла кулон и положила его на стеклянный кофейный столик.

Вадим заинтересованно взял кулон в руки, повертел его, пытаясь определить, как сориентированы иероглифы – по вертикальной или горизонтальной оси. Он даже шутливо

ливо

понюхал его, чтобы сделать ей приятное, и сказал:

– Пока могу сказать только одно: это древний зашифрованный чертеж того, как

изначально была спроектирована женщина. Но что-то мне подсказывает, что тут не обошлось без

«собачатины».

«Собачатина» – это была его любимая шутливая издёвка последних недель, кумулятивный

термин закоренелого материалиста для обозначения всей восточной мудрости, в которую она

погрузилась со щенячьим восторгом неопфита, – все эти круги сансары, или круг перерождений,

медитации и трансы, погружение в нирвану, «говорящий не знает – знающий не говорит»...

– Что-то в этой вещице есть завораживающее, – продолжил Вадим. – При том, что я не знаток и не ценитель. И если даже мне интересно... Так и быть, просвети. Не иначе как какой-

нибудь символ Будды?

Ляля улыбнулась.

– Да, символ, или, вернее, станет им, если ты захочешь, конечно. Будда к нему имеет весьма отдалённое отношение.

Он углублённо, с конструкторской дотошностью вертел кулон в пальцах, уже смелее, уже догадываясь, что здесь и таится сюрприз ко дню рождения. Он надавил его в горизонтальной оси

с двух сторон, и кулон легко распался на две части.

– Ага, это двойная конструкция. Два тождественных контура, выполняющих одну функцию.

Ляля рассмеялась.

– Догадался, молодец. Не зря тебя в институте учат. А как, хотела бы я знать?

Савченко уверенным жестом экспериментатора показал на отверстия для цепочки. Их было два: одно на белой части, а другое на чёрной:

– Ну зачем одному кулону две цепочки? Ерго – это два кулона.

– Логично, – кивнула Лялька. – Носить будем? – И почему-то вдруг густо покраснела. «Не рано ли привязывать его к себе, – пронеслась вдруг шальная мысль. – Ему это надо?»

На секунду она усомнилась в нём, но останавливаться уже нельзя. Она открыла коробочку

и вынула оттуда цепочку:

– Это тебе.

Цепочка была дорогой – даже он, профан в украшениях, понял.

– Послушай, неудобно... Она, наверное, кучу денег стоит.

– Даже если твой тезис верен, что не факт, какие альтернативы? Не ты ли мне цитировал кого-то? «Хорошая жизнь стоит дорого. Бывает, конечно, и дешевле, но это уже не жизнь». И

потом, я могу твой день рождения устроить так, как мне хочется, без оглядки на деньги?

Она палила в него выстрелами-вопросами, как ковбой из кольта с обеих рук в американских вестернах, и Савченко сдался:

– Знаешь, мне никто никогда подобных подарков не делал. Потому я и не знаю, как себя вести.

Чтобы помочь, она решила свести всё к шутке, и голосом матери-командирши приказала:

– Как вести? Очень просто! Надеть этот оберег с оттенком, как ты выражаешься,

«собачатины» и носить его, не снимая, до тех пор, пока помнишь обо мне. Когда забудешь,

можешь снять и выбросить.

Фраза была сказана походя и в шутку, но потом, вечером, оставшись одна, она почему-то снова и снова возвращалась к ней в своих мыслях. День прошёл очень хорошо – даже, можно

сказать, триумфально, и Ляля, как заласканный ребёнок, вспоминала все радости: и его чудные,

неповторимые «самурайские» ласки в постели, и их притворную встречу позже, на виду у родителей, когда он, притащив букет подснежников (где он их только раскопал?), церемонно увёл

её из дому в кафе-мороженое, где они пили шампанское и заедали его пломбиром. А фраза:

«Когда забудешь, можешь снять и выбросить», так неосторожно, шутя сказанная, преследовала

её, как тревожная тень.

И так же тревожно, теперь с какой-то неуверенностью выстукивали кузнецы в настенных часах-ходиках, отсчитывая время до летних каникул. Она так ждала их, эти каникулы!

Ей так

хотелось снова вырваться на волю, вместе с ним, подальше от родительской квартиры и всех этих

докучливых уловок на пути в постель, в его объятия.

Но кукушка времени тревожно молчала, не подавала голоса. Вместо этого, по обыкновению, подал голос отец, деликатно осведомившись, каковы планы на лето. Заседание

«малого Совнаркома» осталось далеко в прошлом, условные протоколы его покрылись прахом

забвения – или так Жоре хотелось? С каждым прошедшим днём, который не приносил новостей –

вернее, одной новости, той главной, которая могла перевернуть жизнь его дочери, он испытывал

чувство облегчения. Слава богу, все хитросплетения трудоустройства этого конструктора – не его, Жоры, забота. Но почему молчит дочь? У неё что, нет других вариантов? А если она с ним до сих

пор встречается, то что, в конце концов, они планируют делать? И когда?

И Ляля, понимая двусмысленность ситуации, мучилась этой неопределённостью, отводила

глаза и симулировала беззаботность, стараясь ускользнуть из-за обеденного стола раньше всех,

чтобы не дать повода к вопросам, на которые у неё не было ответа.

Она, словно конный витязь на распутье, стояла на перекрёстке трёх дорог, и дороги, как в былинах, предлагались на выбор: студенческий лагерь в Чехословакии, гостиница «Жемчужина» в

Сочи, мидовский дом отдыха в Подмосковье.

Но ведь лагерь за границей – это значит без него! Нет, нет и нет! И Ляля с порога отмела вариант Чехословакии, заслужив безмолвный укоризненный взгляд добрых армянских глаз отца.

«Жемчужина» звучала заманчиво, но она не представляла, вытянет ли он такой вариант по

деньгам. Наученная опытом, она знала, что он никогда бы себе не позволил отправиться туда за

её счет. А Дом отдыха – это скучно. И она ждала, что он вот-вот заговорит об этом с ней сам. И

предложит... Что? Руку и сердце? Хотя и это она не исключала. Но дни шли за днями, а кукушка

куда-то запропастилась, и надо на что-то решаться.

Наконец, Ляля решилась спросить. Из всех сил маскируя неловкость вопроса обычными шутками и прибаутками, она поинтересовалась, где будущий генеральный конструктор всех

летательных аппаратов мира собирается набираться сил, чтобы осенью сделать ещё одно гениальное изобретение. И здесь пошёл сбой. Она это сразу почувствовала. Вадим врал – не

очень умело и неубедительно; в тон ей легко – слишком легко и беззаботно после всего, что

случилось между ними! Он описывал глупый, детский какой-то план: они-де с ребятами, наверное, отправятся куда-нибудь «дикарями» – в Ялту или под Сочи, разобьют палаточный лагерь, станут ловить рыбу и готовить на костре.

Бардовский рай! Песни под гитару! У Ляли упало сердце. В этой банальной, как ковёр на стене хрущёвки, картинке не находилось места ей. Неужели он, со своей не самой тупой головой, не видел этой очевидности?! Она, вся горя от негодования и обиды, поинтересовалась для

проформы, стараясь сохранить нейтральность интонаций: «Очень интересно, егерь. А я тоже буду

проживать в палатке? А спальный мешок ты мне выделишь отдельный или пустишь в свой?»

И Вадим Савченко раскрылся одной фразой: «Ну, у тебя, наверное, своя компания. Из МГИМО. Я же не претендую на какую-то роль в ней».

И она, удивляясь только тому, что слышит это, что не ослышалась, ровным, плоским

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.